

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

«Неужели это продолжение сна?» — подумалось еще раз Раскольникову. Осторожно и недоверчиво всматривался он в неожиданного гостя.

— Свидригайлов? Какой вздор! Быть не может! — проговорил он наконец вслух, в недоумении.

Казалось, гость совсем не удивился этому восклицанию.

— Вследствие двух причин к вам зашел, во-первых, лично познакомиться пожелал, так как давно уж наслышан с весьма любопытной и выгодной для вас точки; а во-вторых, мечтаю, что не уклонитесь, может быть, мне помочь в одном предприятии, прямо касающемся интереса сестрицы вашей, Авдотьи Романовны. Одного-то меня, без рекомендации, она, может, и на двор к себе теперь не пустит, вследствие предубеждения, ну, а с вашей помощью я, напротив, рассчитываю...

— Плохо рассчитываете, — перебил Раскольников.

— Они ведь только вчера прибыли, позвольте спросить?

Раскольников не ответил.

— Вчера, я знаю. Я ведь сам прибыл всего только третьего дня. Ну-с, вот что я скажу вам на этот счет, Родион Романович; оправдывать себя считаю излишним, но позвольте же и мне заявить: что ж тут, во всем этом, в самом деле, такого особенно преступного с моей стороны, то есть без предрассудков-то, а здраво судя?

Раскольников продолжал молча его рассматривать.

— То, что в своем доме преследовал беззащитную девицу и «оскорблял ее своими гнусными предложениями», — так ли-с? (Сам вперед забегаю!) Да ведь предположите только, что и я человек есмь *et nihil humanum...*¹ одним словом, что и я способен прельститься и полюбить (что уж, конечно, не по нашему велению творится), тогда все самым естественным образом объясняется. Тут весь вопрос: изверг ли я или сам жертва? Ну, а как жертва? Ведь предлагая моему предмету бежать со мною в Америку или Швейцарию, я, может, самые почтительнейшие чувства при сем питал, да еще думал обоюдное счастье устроить!.. Разум-то ведь страсти служит; я, пожалуй, себя еще больше губил, помилуйте!..

— Да совсем не в том дело, — с отвращением перебил Раскольников, — просто-запросто вы противны, правы ль вы или не правы, ну, вот с вами и не хотят знаться, и гонят вас, и ступайте!..

Свидригайлов вдруг расхохотался.

— Однако ж вы... однако ж вас не собьешь! — проговорил он, смеясь откровеннейшим образом, — я было думал схитрить, да нет, вы как раз на самую настоящую точку стали!

— Да вы и в эту минуту хитрить продолжаете.

— Так что ж? Так что ж? — повторял Свидригайлов, смеясь нараспашку, — ведь это *bonne gueite*², что называется, и самая позволительная хитрость!.. Но все-таки вы меня перебили; так или этак, подтверждаю опять: никаких неприятностей не было бы, если бы не случай в саду. Марфа Петровна...

— Марфу-то Петровну вы тоже, говорят, уходили? — грубо перебил Раскольников.

— А вы и об этом слышали? Как, впрочем, не слышать... Ну, насчет этого вашего вопроса, право, не знаю, как вам сказать; хотя моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. То есть не подумайте, чтоб я опасался чего-нибудь там этакого: все это произведено было в совершенном порядке и в полной точности: медицинское следствие обнаружило апоплексию, происшедшую от купания сейчас после плотного обеда, с выпитою чуть не бутылкой вина, да и ничего другого и обнаружить оно не могло... Нет-с, я вот что про себя думал некоторое время, вот особенно в дороге, в вагоне сидя: не способствовал ли я всему этому... несчастью, как-нибудь там раздражением

нравственно или чем-нибудь в этом роде? Но заключил, что и этого положительно быть не могло.

Раскольников засмеялся.

— Охота же так беспокоиться!

— Да вы чему смеетесь? Вы сообразите: я ударил всего только два раза хлыстиком, даже знаков не оказалось... Не считайте меня, пожалуйста, циником; я ведь в точности знаю, как это гнусно с моей стороны, ну и так далее; но ведь я тоже наверно знаю, что Марфа Петровна пожалуй что и рада была этому моему, так сказать, увлечению. История по поводу вашей сестрицы истощилась до ижицы. Марфа Петровна уже третий день принуждена была дома сидеть; не с чем в городишко показаться, да и надоела она там всем с своим этим письмом (про чтение письма-то слышали?). И вдруг эти два хлыста как с неба падают! Первым делом карету велела закладывать!.. Я уж о том и не говорю, что у женщин случаи такие есть, когда очень и очень приятно быть оскорбленною, несмотря на все видимое негодование. Они у всех есть, эти случаи-то; человек вообще очень и очень даже любит быть оскорбленным, замечали вы это? Но у женщин это в особенности. Даже можно сказать, что тем только и пробавляются.

Одно время Раскольников думал было встать и уйти и тем покончить свидание. Но некоторое любопытство и даже как бы расчет удержали его на мгновение.

— Вы любите драться? — спросил он рассеянно.

— Нет, не весьма, — спокойно отвечал Свидригайлов. — А с Марфой Петровной почти никогда не дрались. Мы весьма согласно жили, и она мной всегда довольна оставалась. Хлыст я употребил, во все наши семь лет, всего только два раза (если не считать еще одного третьего случая, весьма, впрочем, двусмысленного): в первый раз — два месяца спустя после нашего брака, тотчас же по приезде в деревню, и вот теперешний последний случай. А вы уж думали, я такой изверг, ретроград, крепостник? хе-хе... А кстати: не припомните ли вы, Родион Романович, как несколько лет тому назад, еще во времена благодетельной гласности, осрамили у нас всенародно и вселитературно одного дворянина — забыл фамилию! — вот еще немку-то отхлестал в вагоне, помните? Тогда еще, в тот же самый год кажется, и «Безобразный поступок „Века“» случился (ну, «Египетские-то ночи», чтение-то публичное, помните? Черные-то глаза! О, где ты, золотое время нашей юности!). Ну-с, так вот мое мнение: господину, отхлеставшему немку, глубоко не сочувствую, потому что и в самом деле оно... что же сочувствовать! Но при сем не могу не заявить, что случаются иногда такие подстрекательные «немки», что, мне кажется, нет ни единого прогрессиста, который бы совершенно мог за себя поручиться. С этой точки никто не посмотрел тогда на предмет, а между тем эта точка-то и есть настоящая гуманная, право-с так!

Проговорив это, Свидригайлов вдруг опять рассмеялся. Раскольникову явно было, что это на что-то твердо решившийся человек и себе на уме.

— Вы, должно быть, несколько дней сряду ни с кем не говорили? — спросил он.

— Почти так. А что: верно, дивитесь, что я такой складной человек?

— Нет, я тому дивлюсь, что уж слишком вы складной человек.

— Оттого что грубостию ваших вопросов не обижался? Так, что ли? Да... чего ж обижаться? Как спрашивали, так и отвечал, — прибавил он с удивительным выражением простодушия. — Ведь я особенно-то ничем почти не интересуюсь, ей-богу, — продолжал он как-то вдумчиво. — Особенно теперь, ничем-таки не занят... Впрочем, вам позволительно думать, что я из видов заискиваю, тем более что имею дело до вашей сестрицы, сам объявил. Но я вам откровенно скажу: очень скучно! Особенно эти три дня, так что я вам даже обрадовался... Не рассердитесь, Родион Романович, но вы мне сами почему-то кажетесь ужасно как странным. Как хотите, а что-то в вас есть; и именно теперь, то есть не собственно в эту минуту, а вообще теперь... Ну, ну, не буду, не буду, не хмурьтесь! Я ведь не такой медведь, как вы думаете.

Раскольников мрачно посмотрел на него.

— Вы даже, может быть, и совсем не медведь, — сказал он. — Мне даже кажется, что вы очень хорошего общества или, по крайней мере, умеете при случае быть и порядочным человеком.

— Да ведь я ничьим мнением особенно не интересуюсь, — сухо и как бы даже с оттенком высокомерия ответил Свидригайлов, — а потому отчего же и не побывать пошляком, когда это платье в нашем климате так удобно носить и... и особенно, если к тому и натурально склонность имеешь, — прибавил он, опять засмеявшись.

— Я слышал, однако, что у вас здесь много знакомых. Вы ведь то, что называется «не без связей». Зачем же вам я-то в таком случае, как не для целей?

— Это вы правду сказали, что у меня есть знакомые, — подхватил Свидригайлов, не отвечая на главный пункт, — я уж встречал; третий ведь день слоняюсь; и сам узнаю, и меня, кажется, узнают. Оно конечно, одет прилично и числюсь человеком не бедным; нас ведь и крестьянская реформа обошла: леса да луга заливные, доход-то и не теряется; но... не пойду я туда; и прежде надоело: хожу третий день и не признаюсь никому... А тут еще город! То есть как это он сочинился у нас, скажите пожалуйста! Город канцеляристов и всевозможных семинаристов! Право, я многого здесь прежде не примечал, лет восемь-то назад, когда тут валандался... На одну только анатомию теперь и надеюсь, ей-богу!

— На какую анатомию?

— А насчет этих клубов, [Дюссотов](#), пуантов этих ваших или, пожалуй, вот еще прогрессу — ну, это пусть будет без вас, — продолжал он, не заметив опять вопроса. — Да и охота шулером-то быть?

— А вы были шулером?

— Как же без этого? Целая компания нас была, наиприличнейшая, лет восемь назад; проводили время; и все, знаете, люди с манерами, поэты были, капиталисты были. Да и вообще у нас, в русском обществе, самые лучшие манеры у тех, которые биты бывали, — заметили вы это? Это ведь я в деревне теперь опустился. А все-таки посадили было меня тогда в тюрьму за долги, гречонка [один нежинский](#). Тут и подвернулась Марфа Петровна, поторговалась и выкупила меня за тридцать тысяч сребреников. (Всего-то я семьдесят тысяч был должен.) Сочетались мы с ней законным браком, и увезла она меня тотчас же к себе в деревню, как какое сокровище. Она ведь старше меня пятью годами. Очень любила. Семь лет из деревни не выезжал. И заметьте, всю-то жизнь документ против меня, на чужое имя, в этих тридцати тысячах держала, так что задумай я в чем-нибудь взбунтоваться, — тотчас же в капкан! И сделала бы! У женщин ведь это все вместе уживается.

— А если бы не документ, дали бы тягу?

— Не знаю, как вам сказать. Меня этот документ почти не стеснял. Никуда мне не хотелось, а за границу Марфа Петровна и сама меня раза два приглашала, видя, что я скучал! Да что! За границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то чтоб, а вот заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь, и как-то грустно. Всего противнее, что ведь действительно о чем-то грустишь! Нет, на родине лучше: тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя оправдываешь. Я бы, может, теперь в экспедицию на Северный полюс поехал, потому ж'аи le vin mauvais³, и пить мне противно, а кроме вина ничего больше не остается. Пробовал. А что, говорят, [Берг](#) в воскресенье в Юсуповом саду на огромном шаре полетит, попутчиков за известную плату приглашает, правда?

— Что ж, вы полетели бы?

— Я? нет... так... — пробормотал Свидригайлов, действительно как бы задумавшись.

«Да что он, в самом деле, что ли?» — подумал Раскольников.

— Нет, документ меня не стеснял, — продолжал Свидригайлов раздумчиво, — это я сам из деревни не выезжал. Да и уж с год будет, как Марфа Петровна в именины мои мне и документ этот возвратила, да еще вдобавок примечательную сумму подарила. У ней ведь был капитал. «Видите, как я вам доверяю, Аркадий Иванович», — право, так и

выразилась. Вы не верите, что так выразилась? А знаете: ведь я хозяином порядочным в деревне стал; меня в околотке знают. Книжки тоже выписывал. Марфа Петровна сперва одобряла, а потом все боялась, что я заучусь.

— Вы по Марфе Петровне, кажется, очень скучаете?

— Я? Может быть. Право, может быть. А кстати, верите вы в привидения?

— В какие привидения?

— В обыкновенные привидения, в какие!

— А вы верите?

— Да, пожалуй, и нет, *peut vous plaire...*⁴ То есть не то что нет...

— Являются, что ли?

Свидригайлов как-то странно посмотрел на него.

— Марфа Петровна посещать изволит, — проговорил он, скривя рот в какую-то странную улыбку.

— Как это посещать изволит?

— Да уже три раза приходила. Впервой я ее увидел в самый день похорон, час спустя после кладбища. Это было накануне моего отъезда сюда. Второй раз третьего дня, в дороге, на рассвете, на станции Малой Вишере; а в третий раз, два часа тому назад, на квартире, где я стою, в комнате; я был один.

— Наяву?

— Совершенно. Все три раза наяву. Придет, поговорит с минутой и уйдет в дверь; всегда в дверь. Даже как будто слышно.

— Отчего я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается! — проговорил вдруг Раскольников и в ту же минуту удивился, что это сказал. Он был в сильном волнении.

— Во-от? Вы это подумали? — с удивлением спросил Свидригайлов, — да неужели? Ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?

— Никогда вы этого не говорили! — резко и с азартом ответил Раскольников.

— Не говорил?

— Нет!

— Мне показалось, что говорил. Давеча, как я вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид, — тут же и сказал себе: «Это тот самый и есть!»

— Что это такое: тот самый? Про что вы это? — вскричал Раскольников.

— Про что? А право, не знаю про что... — чистосердечно, и как-то сам запутавшись, пробормотал Свидригайлов.

С минуту помолчали. Оба поглядели друг на друга во все глаза.

— Все это вздор! — с досадой вскрикнул Раскольников. — Что ж она вам говорит, когда приходит?

— Она-то? Вообразите себе, о самых ничтожных пустяках, и подивитесь человеку: меня ведь это-то и сердит. В первый раз вошла (я, знаете, устал: похоронная служба, со святыми упокой, потом лития, закуска, — наконец-то в кабинете один остался, закурил сигару, задумался), вошла в дверь: «А вы, говорит, Аркадий Иванович, сегодня за хлопотами и забыли в столовой часы завести». А часы эти я, действительно, все семь лет, каждую неделю сам заводил, а забуду — так всегда, бывало, напомним. На другой день я уж еду сюда. Вошел, на рассвете, на станцию, — за ночь вздремнул, изломан, глаза заспаны, — взял кофею; смотрю — Марфа Петровна вдруг садится подле меня, в руках колода карт: «Не загадать ли вам, Аркадий Иванович, на дорогу-то?» А она мастерица гадать была. Ну, и не прощу же себе, что не загадал! Убежал, испугавшись, а тут, правда, и колокольчик. Сижу сегодня после дряннейшего обеда из кухмистерской, с тяжелым желудком — сижу, курю — вдруг опять Марфа Петровна, входит вся разодетая, в новом шелковом зеленом платье с длиннейшим хвостом: «Здравствуйте, Аркадий Иванович! Как на ваш вкус мое платье? Аниська так не сошьет». (Аниська — это мастерица у нас в деревне, из прежних крепостных, в ученье в Москве была — хорошенькая девчонка.)

Стоит, вертится передо мной. Я осмотрел платье, потом внимательно ей в лицо посмотрел: «Охота вам, говорю, Марфа Петровна, из таких пустяков ко мне ходить, беспокоиться». — «Ах, бог мой, батюшка, уж и потревожить тебя нельзя?» Я ей говорю, чтобы подразнить ее: «Я, Марфа Петровна, жениться хочу». — «От вас это станется, Аркадий Иванович; не много чести вам, что вы, не успев жену схоронить, тотчас и жениться поехали. И хоть бы выбрали-то хорошо, а то ведь, я знаю, — ни ей, ни себе, только добрых людей насмешите». Взяла да и вышла, и хвостом точно как будто шумит. Экой ведь вздор, а?

— Да вы, впрочем, может быть, все лжете? — отозвался Раскольников.

— Я редко лгу, — отвечал Свидригайлов задумчиво и как бы совсем не заметив грубости вопроса.

— А прежде, до этого, вы никогда привидений не видывали?

— Н... нет, видел, один только раз в жизни, шесть лет тому. Филька, человек дворовый у меня был; только что его похоронили, я крикнул, забывшись: «Филька, трубку!» — вошел, и прямо к горке, где стоят у меня трубки. Я сижу, думаю: «Это он мне отомстить», потому что перед самою смертью мы крепко поссорились. «Как ты смеешь, говорю, с продраным локтем ко мне входить, — вон, негодяй!» Повернулся, вышел и больше не приходил. Я Марфе Петровне тогда не сказал. Хотел было панихиду по нем отслужить, да посовестился.

— Сходите к доктору.

— Это-то я и без вас понимаю, что нездоров, хотя, право, не знаю чем; по-моему, я, наверно, здоровее вас впятеро. Я вас не про то спросил, — верите вы или нет, что привидения являются? Я вас спросил: верите ли вы, что есть привидения?

— Нет, ни за что не поверю! — с какою-то даже злобой вскричал Раскольников.

— Ведь обыкновенно как говорят? — бормотал Свидригайлов, как бы про себя, смотря в сторону и наклонив несколько голову. — Они говорят: «Ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один только несуществующий бред». А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе как больным, а не то что их нет самих по себе.

— Конечно, нет! — раздражительно настаивал Раскольников.

— Нет? Вы так думаете? — продолжал Свидригайлов, медленно посмотрев на него. — Ну, а что, если так рассудить (вот помогите-ка): «Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешней жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что, когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир». Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить.

— Я не верю в будущую жизнь, — сказал Раскольников.

Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, — сказал он вдруг.

«Это помешанный», — подумал Раскольников.

— Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников.

— Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе. Свидригайлов поднял голову, пристально посмотрел на него и вдруг расхохотался.

— Нет, вы вот что сообразите, — закричал он, — назад тому полчаса мы друг друга еще и не видывали, считаемся врагами, между нами нерешенное дело есть; мы дело-то бросили и звона в какую литературу заехали! Ну, не правду я сказал, что мы одного поля ягоды?

— Сделайте же одолжение, — раздражительно продолжал Раскольников, — позвольте вас просить поскорее объясниться и сообщить мне, почему вы удостоили меня чести вашего посещения... и... и... я тороплюсь, мне некогда, я хочу со двора идти...

— Извольте, извольте. Ваша сестрица, Авдотья Романовна, за господина Лужина выходит, Петра Петровича?

— Нельзя ли как-нибудь обойти всякий вопрос о моей сестре и не упоминать ее имени? Я даже не понимаю, как вы смеете при мне выговаривать ее имя, если только вы действительно Свидригайлов?

— Да ведь я же об ней и пришел говорить, как же не упоминать-то?

— Хорошо; говорите, но скорее!

— Я уверен, что вы об этом господине Лужине, моем по жене родственнике, уже составили ваше мнение, если его хоть полчаса видели или хоть что-нибудь об нем верно и точно слышали. Авдотье Романовне он не пара. По-моему, Авдотья Романовна в этом деле жертвует собою весьма великодушно и нерасчетливо, для... для своего семейства. Мне показалось, вследствие всего, что я об вас слышал, что вы, с своей стороны, очень бы довольны были, если б этот брак мог расстроиться без нарушения интересов. Теперь же, узнав вас лично, я даже в этом уверен.

— С вашей стороны все это очень наивно; извините меня, я хотел сказать: нахально, — сказал Раскольников.

— То есть вы этим выражаете, что я хлопочу в свой карман. Не беспокойтесь, Родион Романович, если б я хлопотал в свою выгоду, то не стал бы так прямо высказываться, не дурак же ведь я совсем. На этот счет открою вам одну психологическую странность. Давеча я, оправдывая свою любовь к Авдотье Романовне, говорил, что был сам жертвой. Ну так знайте же, что никакой я теперь любви не ощущаю, н-никакой, так что мне самому даже странно это, потому что я ведь действительно нечто ощущал...

— От праздности и разврата, — перебил Раскольников.

— Действительно, я человек развратный и праздный. А впрочем, ваша сестрица имеет столько преимуществ, что не мог же и я не поддаться некоторому впечатлению. Но все это вздор, как теперь и сам вижу.

— Давно ли увидели?

— Замечать стал еще прежде, окончательно же убедился третьего дня, почти в самую минуту приезда в Петербург. Впрочем, еще в Москве воображал, что еду добиваться руки Авдотьи Романовны и соперничать с господином Лужиным.

— Извините, что вас перерву, сделайте одолжение: нельзя ли сократить и перейти прямо к цели вашего посещения. Я тороплюсь, мне надо идти со двора...

— С величайшим удовольствием. Прибыв сюда и решившись теперь предпринять некоторый... вояж, я пожелал сделать необходимые предварительные распоряжения. Дети мои остались у тетки; они богаты; а я им лично не надобен. Да и какой я отец! Себе я взял только то, что подарила мне год назад Марфа Петровна. С меня достаточно. Извините, сейчас перехожу к самому делу. Перед вояжем, который, может быть, и сбудется, я хочу и с господином Лужиным покончить. Не то чтоб уж я его очень терпеть не мог, но через него, однако, и вышла эта ссора моя с Марфой Петровной, когда я узнал, что она эту свадьбу состряпала. Я желаю теперь повидаться с Авдотьей Романовной, через ваше посредство и, пожалуй, в вашем же присутствии, объяснить ей, во-первых, что от господина Лужина не только не будет ей ни малейшей выгоды, но даже наверно будет явный ущерб. Затем, испросив у ней извинения в недавних этих всех неприятностях, я

попросил бы позволения предложить ей десять тысяч рублей и таким образом облегчить разрыв с господином Лужиным, разрыв, от которого, я уверен, она и сама была бы не прочь, явилась бы только возможность.

— Но вы действительно, действительно сумасшедший! — вскричал Раскольников, не столько даже рассерженный, сколько удивленный. — Как смеете вы так говорить!

— Я так и знал, что вы закричите; но, во-первых, я хоть и небогат, но эти десять тысяч рублей у меня свободны, то есть совершенно, совершенно мне не надобны. Не примет Авдотья Романовна, так я, пожалуй, еще глупее их употреблю. Это раз. Второе: совесть моя совершенно покойна; я без всяких расчетов предлагаю. Верьте не верьте, а впоследствии узнаете и вы и Авдотья Романовна. Все в том, что я действительно принес несколько хлопот и неприятностей многоуважаемой вашей сестрице; стало быть, чувствуя искреннее раскаяние, сердечно желаю, — не откупиться, не заплатить за неприятности, а просто-запросто сделать для нее что-нибудь выгодное, на том основании, что не привилегию же в самом деле взял я делать одно только злое. Если бы в моем представлении была хотя миллионная доля расчета, то не стал бы я предлагать всего только десять тысяч, тогда как всего пять недель назад предлагал ей больше. Кроме того, я, может быть, весьма и весьма скоро женюсь на одной девице, а следственно, все подозрения в каких-нибудь покушениях против Авдотьи Романовны тем самым должны уничтожиться. В заключение скажу, что, выходя за господина Лужина, Авдотья Романовна те же самые деньги берет, только с другой стороны... Да вы не сердитесь, Родион Романович, рассудите спокойно и хладнокровно.

Говоря это, Свидригайлов был сам чрезвычайно хладнокровен и спокоен.

— Прошу вас кончить, — сказал Раскольников. — Во всяком случае, это непростительно дерзко.

— Нимало. После этого человек человеку на сем свете может делать одно только зло и, напротив, не имеет права сделать ни крошки добра, из-за пустых принятых формальностей. Это нелепо. Ведь если б я, например, помер и оставил бы эту сумму сестрице вашей по духовному завещанию, неужели б она и тогда принять отказалась?

— Весьма может быть.

— Ну уж это нет-с. А впрочем, нет так и нет, так пусть и будет. А только десять тысяч — прекрасная штука, при случае. Во всяком случае, попрошу передать сказанное Авдотье Романовне.

— Нет, не передам.

— В таком случае, Родион Романович, я сам принужден буду добиваться свидания личного, а стало быть, беспокоить.

— А если я передам, вы не будете добиваться свидания личного?

— Не знаю, право, как вам сказать. Видеться один раз я бы очень желал.

— Не надейтесь.

— Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может, сойдемся поближе.

— Вы думаете, что мы сойдемся поближе?

— А почему ж бы и нет? — улыбнувшись, сказал Свидригайлов, встал и взял шляпу, — я ведь не то чтобы так уж очень желал вас беспокоить и, идя сюда, даже не очень рассчитывал, хотя, впрочем, физиономия ваша еще давеча утром меня поразила...

— Где вы меня давеча утром видели? — с беспокойством спросил Раскольников.

— Случайно-с... Мне все кажется, что в вас есть что-то к моему подходящее... Да не беспокойтесь, я не надоедлив; и с шулерами уживался, и князю Свирбею, моему дальнему родственнику и вельможе, не надоел, и об Рафаэлевой Мадонне госпоже Прилуковой в альбом сумел написать, и с Марфой Петровной семь лет безвыездно проживал, и в [доме Вяземского](#) на Сенной в старину ночевывал, и на шаре с Бергом, может быть, полечу.

— Ну, хорошо-с. Позвольте спросить, вы скоро в путешествие отправитесь?

— В какое путешествие?

— Ну да в «вояж»-то этот... Вы ведь сами сказали.

— В вояж? Ах да!.. в самом деле, я вам говорил про вояж... Ну, это вопрос обширный... А если б знали вы, однако ж, об чем спрашиваете! — прибавил он и вдруг громко и коротко рассмеялся. — Я, может быть, вместо вояжа-то женюсь; мне невесту сватают.

— Здесь?

— Да.

— Когда это вы успели?

— Но с Авдотьей Романовной однажды повидаться весьма желаю. Серьезно прошу. Ну, до свидания... ах да! Ведь вот что забыл! Передайте, Родион Романович, вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в трех тысячах. Это положительно верно. Марфа Петровна распорядилась за неделю до смерти, и при мне дело было. Недели через две-три Авдотья Романовна может и деньги получить.

— Вы правду говорите?

— Правду. Передайте. Ну-с, ваш слуга. Я ведь от вас очень недалеко стою.

Выходя, Свидригайлов столкнулся в дверях с Разумихиным.

II

Было уж почти восемь часов; оба спешили к Бакалееву, чтобы прийти раньше Лужина.

— Ну, кто ж это был? — спросил Разумихин, только что вышли на улицу.

— Это был Свидригайлов, тот самый помещик, в доме которого была обижена сестра, когда служила у них гувернанткой. Через его любовные преследования она от них вышла, выгнанная его женой, Марфой Петровной. Эта Марфа Петровна просила потом у Дуни прощения, а теперь вдруг умерла. Это про нее давеча говорили. Не знаю почему, я этого человека очень боюсь. Он приехал тотчас после похорон жены. Он очень странный и на что-то решился... Он как будто что-то знает... От него надо Дуню оберегать... вот это я и хотел сказать тебе, слышишь?

— Оберегать! Что ж он может против Авдотьи Романовны? Ну, спасибо тебе, Родя, что мне так говоришь... Будем, будем оберегать!.. Где живет?

— Не знаю.

— Зачем не спросил? Эх, жаль! Впрочем, узнаю!

— Ты его видел? — спросил Раскольников после некоторого молчания.

— Ну да, заметил; твердо заметил.

— Ты его точно видел? Ясно видел? — настаивал Раскольников.

— Ну да, ясно помню; из тысячи узнаю, я памятлив на лица.

Опять помолчали.

— Гм... то-то... — пробормотал Раскольников. — А то знаешь... мне подумалось... мне все кажется... что это может быть и фантазия.

— Да про что ты? Я тебя не совсем хорошо понимаю.

— Вот вы все говорите, — продолжал Раскольников, скривив рот в улыбку, — что я помешанный; мне и показалось теперь, что, может быть, я в самом деле помешанный и только призрак видел!

— Да что ты это?

— А ведь кто знает! Может, я и впрямь помешанный, и все, что во все эти дни было, все, может быть, так только, в воображении...

— Эх, Родя! Расстроили тебя опять!.. Да что он говорил, с чем приходил?

Раскольников не отвечал, Разумихин подумал с минуту.

— Ну, слушай же мой отчет, — начал он. — Я к тебе заходил, ты спал. Потом обедали, а потом я пошел к Порфирию. Заметов все у него. Я было хотел начать, и ничего не вышло. Все не мог заговорить настоящим образом. Они точно не понимают и понять не могут, но вовсе не конфузятся. Отвел я Порфирия к окну и стал говорить, но опять отчего-то не так вышло: он смотрит в сторону, и я смотрю в сторону. Я, наконец, поднес к его роже кулак и сказал, что размножу его, по-родственному. Он только посмотрел на меня. Я

плюнул и ушел, вот и все. Очень глупо. С Заметовым я ни слова. Только видишь: я думал, что подгадил, а мне, сходя с лестницы, мысль одна пришла, так и осенила меня: из чего мы с тобой хлопочем? Ведь если б тебе опасность была или там что-нибудь, ну, конечно. А ведь тебе что! Ты тут ни при чем, так наплевать на них; мы же над ними насмеемся потом, а я бы на твоём месте их еще мистифицировать стал. Ведь как им стыдно-то потом будет! Плюнь; потом и поколотить можно будет, а теперь посмеемся!

— Разумеется, так! — ответил Раскольников. «А что-то ты завтра скажешь?» — подумал он про себя. Странное дело, до сих пор еще ни разу не приходило ему в голову: «что подумает Разумихин, когда узнает?» Подумав это, Раскольников пристально поглядел на него. Теперешним же отчетом Разумихина о посещении Порфирия он очень немного был заинтересован: так много убыло с тех пор и прибавилось!..

В коридоре они столкнулись с Лужиным: он явился ровно в восемь часов и отыскивал номер, так что все трое вошли вместе, но не глядя друг на друга и не кланаясь. Молодые люди прошли вперед, а Петр Петрович, для приличия, замешкался несколько в прихожей, снимая пальто. Пульхерия Александровна тотчас же вышла встретить его на пороге. Дуня здоровалась с братом.

Петр Петрович вошел и довольно любезно, хотя и с удвоенною солидностью, раскланялся с дамами. Впрочем, смотрел так, как будто немного сбился и еще не нашелся. Пульхерия Александровна, тоже как будто сконфузившаяся, тотчас же поспешила рассадить всех за круглым столом, на котором кипел самовар. Дуня и Лужин поместились напротив друг друга по обоим концам стола. Разумихин и Раскольников пришились напротив Пульхерии Александровны, — Разумихин ближе к Лужину, а Раскольников подле сестры.

Наступило мгновенное молчание. Петр Петрович не спеша вынул батистовый платок, от которого понесло духами, и высморкался с видом хотя и добродетельного, но все же несколько оскорбленного в своем достоинстве человека, и притом твердо решившегося потребовать объяснений. Ему еще в передней пришла было мысль: не снимать пальто и уехать и тем строго и внушительно наказать обеих дам, так чтобы разом дать все почувствовать. Но он не решился. Притом этот человек не любил неизвестности, а тут надо было разъяснить: если так явно нарушено его приказание, значит, что-нибудь да есть, а стало быть, лучше наперед узнать; наказать же всегда будет время, да и в его руках.

— Надеюсь, путешествие прошло благополучно? — официально обратился он к Пульхерии Александровне.

— Слава богу, Петр Петрович.

— Весьма приятно-с. И Авдотья Романовна тоже не устали?

— Я-то молода и сильна, не устану, а мамаше так очень тяжело было, — ответила Дунечка.

— Что делать-с; наши национальные дороги весьма длинны. Велика так называемая «матушка-Россия»... Я же, при всем желании, никак не мог вчера поспешить к встрече. Надеюсь, однако, что все произошло без особых хлопот?

— Ах нет, Петр Петрович, мы были очень обескуражены, — с особой интонацией поспешила заявить Пульхерия Александровна, — и если б сам Бог, кажется, не послал нам вчера Дмитрия Прокофьяча, то мы просто бы так и пропали. Вот они, Дмитрий Прокофьяч Разумихин, — прибавила она, рекомендуя его Лужину.

— Как же, имел удовольствие... вчера, — пробормотал Лужин, неприязненно покосившись на Разумихина, затем нахмурился и примолк. Да и вообще Петр Петрович принадлежал к разряду людей, по-видимому, чрезвычайно любезных в обществе и особенно претендующих на любезность, но которые, чуть что не по ним, тотчас же и теряют все свои средства и становятся похожими скорее на мешки с мукой, чем на развязных и оживляющих общество кавалеров. Все опять примолкли: Раскольников упорно молчал, Авдотья Романовна до времени не хотела прерывать молчания, Разумихину нечего было говорить, так что Пульхерия Александровна опять

затревожилась.

— Марфа Петровна умерла, вы слышали, — начала она, прибегая к своему капитальному средству.

— Как же, слышал-с. По первому слуху был уведомлен и даже приехал вам теперь сообщить, что Аркадий Иванович Свидригайлов, немедленно после похорон супруги, отправился поспешно в Петербург. Так, по крайней мере, по точнейшим известиям, которые я получил.

— В Петербург? Сюда? — тревожно спросила Дунечка и переглянулась с матерью.

— Точно так-с, и уж, разумеется, не без целей, приняв во внимание поспешность выезда и вообще предшествовавшие обстоятельства.

— Господи! Да неужели он и тут не оставит Дунечку в покое? — вскрикнула Пульхерия Александровна.

— Мне кажется, особенно тревожиться нечего, ни вам, ни Авдотье Романовне, конечно, если сами не пожелаете входить в какие бы то ни было с ним отношения. Что до меня касается, я слежу и теперь разыскиваю, где он остановился...

— Ах, Петр Петрович, вы не поверите, до какой степени вы меня теперь испугали! — продолжала Пульхерия Александровна. — Я его всего только два раза видела, и он мне показался ужасен, ужасен! Я уверена, что он был причиною смерти покойницы Марфы Петровны.

— Насчет этого нельзя заключить. Я имею известия точные. Не спорю, может быть, он способствовал ускоренному ходу вещей, так сказать, нравственным влиянием обиды; но что касается поведения и вообще нравственной характеристики лица, то я с вами согласен. Не знаю, богат ли он теперь и что именно оставила ему Марфа Петровна; об этом мне будет известно в самый непродолжительный срок; но уж, конечно, здесь, в Петербурге, имея хотя бы некоторые денежные средства, он примется тотчас за старое. Это самый развращенный и погибший в пороках человек из всех подобного рода людей! Я имею значительное основание предполагать, что Марфа Петровна, имевшая несчастье столь полюбить его и выкупить из долгов, восемь лет назад, послужила ему еще и в другом отношении: единственно ее старанием и жертвами затушено было, в самом начале, уголовное дело, с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства, за которое он весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь. Вот каков этот человек, если хотите знать.

— Ах, господи! — вскричала Пульхерия Александровна. Раскольников внимательно слушал.

— Вы правду говорите, что имеете об этом точные сведения? — спросила Дуня строго и внушительно.

— Я говорю только то, что слышал сам, по секрету от покойницы Марфы Петровны. Надо заметить, что, с юридической точки зрения, дело это весьма темное. Здесь жила, да и теперь, кажется, проживает некоторая Ресслих, иностранка и сверх того мелкая процентщица, занимающаяся и другими делами. С этою-то Ресслих господин Свидригайлов находился издавна в некоторых весьма близких и таинственных отношениях. У ней жила дальняя родственница, племянница кажется, глухонемая, девочка лет пятнадцати и даже четырнадцати, которую эта Ресслих беспрдельно ненавидела и каждым куском попрекала; даже бесчеловечно била. Раз она найдена была на чердаке удавившеюся. Присуждено, что от самоубийства. После обыкновенных процедур тем дело и кончилось, но впоследствии явился, однако, донос, что ребенок был... жестоко оскорблен Свидригайловым. Правда, все это было темно, донос был от другой же немки, отъявленной женщины и не имевшей доверия; наконец, в сущности, и доноса не было благодаря стараниям и деньгам Марфы Петровны; все ограничилось слухом. Но, однако, этот слух был многозначителен. Вы, конечно, Авдотья Романовна, слышали тоже у них об истории с человеком Филиппом, умершим от истязаний, лет шесть назад, еще во время крепостного права.

— Я слышала, напротив, что этот Филипп сам удавился.

— Точно так-с, но принудила или, лучше сказать, склонила его к насильственной смерти непрерывная система гонений и взысканий господина Свидригайлова.

— Я не знаю этого, — сухо ответила Дуня, — я слышала только какую-то очень странную историю, что этот Филипп был какой-то ипохондрик, какой-то домашний философ, люди говорили, «зачитался», и что удавился он более от насмешек, а не от побой господина Свидригайлова. А он при мне хорошо обходился с людьми, и люди его даже любили, хотя и действительно тоже винили его в смерти Филиппа.

— Я вижу, что вы, Авдотья Романовна, как-то стали вдруг наклонны к его оправданию, — заметил Лужин, скривя рот в двусмысленную улыбку. — Действительно, он человек хитрый и обольстительный насчет дам, чему плачевным примером служит Марфа Петровна, так странно умершая. Я только хотел послужить вам и вашей мамаше своим советом, ввиду его новых и несомненно предстоящих попыток. Что же до меня касается, то я твердо уверен, что этот человек несомненно исчезнет опять в должном отделении. Марфа Петровна отнюдь никогда не имела намерения что-нибудь за ним закрепить, имея в виду детей, и если и оставила ему нечто, то разве нечто самое необходимое, малостоящее, эфемерное, чего и на год не хватит человеку с его привычками.

— Петр Петрович, прошу вас, — сказала Дуня, — перестанемте о господине Свидригайлове. На меня это наводит тоску.

— Он сейчас приходил ко мне, — сказал вдруг Раскольников, в первый раз прерывая молчание.

Со всех сторон раздались восклицания, все обратились к нему. Даже Петр Петрович взволновался.

— Часа полтора назад, когда я спал, он вошел, разбудил меня и отрекомендовался, — продолжал Раскольников. — Он был довольно развязен и весел и совершенно надеется, что я с ним сойдуся. Между прочим, он очень просит и ищет свидания с тобою, Дуня, а меня просил быть посредником при этом свидании. У него есть к тебе одно предложение; в чем оно, он мне сообщил. Кроме того, он положительно уведомил меня, что Марфа Петровна, за неделю до смерти, успела оставить тебе, Дуня, по завещанию три тысячи рублей, и деньги эти ты можешь теперь получить в самом скором времени.

— Слава богу! — вскричала Пульхерия Александровна и перекрестилась. — Молись за нее, Дуня, молись!

— Это действительная правда, — сорвалось у Лужина.

— Ну-ну, что же дальше? — торопила Дунечка.

— Потом он сказал, что он сам не богат и все имение достается его детям, которые теперь у тетки. Потом, что остановился где-то недалеко от меня, а где? — не знаю, не спросил...

— Но что же, что же он хочет предложить Дунечке? — спросила перепуганная Пульхерия Александровна. — Сказал он тебе?

— Да, сказал.

— Что же?

— Потом скажу. — Раскольников замолчал и обратился к своему чаю.

Петр Петрович вынул часы и посмотрел.

— Необходимо отправиться по делу, и таким образом не помешаю, — прибавил он с несколько пикированным видом и стал вставать со стула.

— Оставайтесь, Петр Петрович, — сказала Дуня, — ведь вы намерены были просидеть вечер. К тому же вы сами писали, что желаете об чем-то объясниться с маменькой.

— Точно так-с, Авдотья Романовна, — внушительно проговорил Петр Петрович, присев опять на стул, но все еще сохраняя шляпу в руках, — я действительно желал объясниться и с вами, и с многоуважаемой вашей мамашей, и даже о весьма важных пунктах. Но как и брат ваш не может при мне объясниться насчет некоторых предложений

господина Свидригайлова, так и я не желаю и не могу объясниться... при других... насчет некоторых весьма важных пунктов. К тому же капитальная и убедительнейшая просьба моя не была исполнена...

Лужин сделал горький вид и осанисто примолк.

— Просьба ваша, чтобы брата не было при нашем свидании, не исполнена единственно по моему настоянию, — сказала Дуня. — Вы писали, что были братом оскорблены; я думаю, что это надо немедленно разъяснить и вы должны помириться. И если Родя вас действительно оскорбил, то он *должен* и *будет* просить у вас извинения.

Петр Петрович тотчас же закуражился.

— Есть некоторые оскорбления, Авдотья Романовна, которые, при всей доброй воле, забыть нельзя-с. Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, воротиться назад невозможно.

— Я вам не про то, собственно, говорила, Петр Петрович, — немного с нетерпением перебила Дуня, — поймите хорошенько, что все наше будущее зависит теперь от того, разъяснится ли и уладится ли все это как можно скорее или нет? Я прямо, с первого слова говорю, что иначе не могу смотреть, и если вы хоть сколько-нибудь мною дорожите, то хоть и трудно, а вся эта история должна сегодня же кончиться. Повторяю вам, если брат виноват, он будет просить прощения.

— Удивляюсь, что вы ставите так вопрос, Авдотья Романовна, — раздражался все более и более Лужин. — Ценя и, так сказать, обожая вас, я в то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Претендуя на счастье вашей руки, не могу в то же время принять на себя обязательств несогласимых...

— Ах, оставьте всю эту обидчивость, Петр Петрович, — с чувством перебила Дуня, — и будьте тем умным и благородным человеком, каким я вас всегда считала и считать хочу. Я вам дала великое обещание, я ваша невеста; доверьтесь же мне в этом деле и поверьте, я в силах буду рассудить беспристрастно. То, что я беру на себя роль судьи, это такой же сюрприз моему брату, как и вам. Когда я пригласила его сегодня, после письма вашего, непременно прийти на наше свидание, я ничего ему не сообщила из моих намерений. Поймите, что если вы не помиритесь, то я должна же выбирать между вами: или вы, или он. Так стал вопрос и с его и с вашей стороны. Я не хочу и не должна ошибиться в выборе. Для вас я должна разорвать с братом; для брата я должна разорвать с вами. Я хочу и могу узнать теперь наверно: брат ли он мне? А про вас: дорога ли я вам, цените ли вы меня; муж ли вы мне?

— Авдотья Романовна, — закоробившись, произнес Лужин, — ваши слова слишком многозначительны для меня, скажу более, даже обидны, ввиду того положения, которое я имею честь занимать в отношении к вам. Не говоря уже ни слова об обидном и странном сопоставлении, на одну доску, между мной и... заносчивым юношей, словами вашими вы допускаете возможность нарушения данного мне обещания. Вы говорите: «или вы, или он?», стало быть, тем самым показываете мне, как немного я для вас значу... я не могу допустить этого при отношениях и... обязательствах, существующих между нами.

— Как! — вспыхнула Дуня, — я ставлю ваш интерес рядом со всем, что до сих пор было мне драгоценно в жизни, что до сих пор составляло *всю* мою жизнь, и вдруг вы обижаетесь за то, что я даю вам *мало* цены!

Раскольников молча и язвительно улыбнулся. Разумихина всего передернуло; но Петр Петрович не принял возражения; напротив, с каждым словом становился он все привязчивее и раздражительнее, точно во вкус входил.

— Любовь к будущему спутнику жизни, к мужу, должна превышать любовь к брату, — произнес он сентенциозно, — а во всяком случае, я не могу стоять на одной доске... Хоть я и настаивал давеча, что в присутствии вашего брата не желаю и не могу изъяснить всего, с чем пришел, тем не менее я теперь же намерен обратиться к многоуважаемой вашей мамаше для необходимого объяснения по одному весьма капитальному и для меня обидному пункту. Сын ваш, — обратился он к Пульхерии

Александровне, — вчера, в присутствии господина Рассудкина (или... кажется, так? извините, запомнил вашу фамилию, — любезно поклонился он Разумихину), обидел меня искажением мысли моей, которую я сообщил вам тогда в разговоре частном, за кофеем, именно что женитьба на бедной девице, уже испытавшей жизненное горе, по моему, повыгоднее в супружеском отношении, чем на испытавшей довольство, ибо полезнее для нравственности. Ваш сын умышленно преувеличил значение слов до нелепого, обвинив меня в злостных намерениях и, по моему взгляду, основываясь на вашей собственной корреспонденции. Почту себя счастливым, если вам, Пульхерия Александровна, возможно будет разубедить меня в противном отношении и тем значительно успокоить. Сообщите же мне, в каких именно терминах передали вы слова мои в вашем письме к Родиону Романовичу?

— Я не помню, — сбилась Пульхерия Александровна, — а передала, как сама поняла. Не знаю, как передал вам Родя... Может, он что-нибудь и преувеличил.

— Без вашего внушения он преувеличить не мог.

— Петр Петрович, — с достоинством произнесла Пульхерия Александровна, — доказательство тому, что мы с Дуней не приняли ваших слов в очень дурную сторону, это то, что мы *здесь*.

— Хорошо, маменька! — одобрительно сказала Дуня.

— Стало быть, я и тут виноват! — обиделся Лужин.

— Вот, Петр Петрович, вы все Родиона вините, а вы и сами об нем давеча неправду написали в письме, — прибавила, ободрившись, Пульхерия Александровна.

— Я не помню, чтобы написал какую-нибудь неправду-с.

— Вы написали, — резко проговорил Раскольников, не оборачиваясь к Лужину, — что я вчера отдал деньги не вдове раздавленного, как это действительно было, а его дочери (которой до вчерашнего дня никогда не видал). Вы написали это, чтобы поссорить меня с родными, и для того прибавили, в гнусных выражениях, о поведении девушки, которой вы не знаете. Все это сплетня и низость.

— Извините, сударь, — дрожа со злости, ответил Лужин, — в письме моем я распространился о ваших качествах и поступках единственно в исполнение тем самым просьбы вашей сестрицы и мамы описать им: как я вас нашел и какое вы на меня произвели впечатление? Что же касается до означенного в письме моем, то найдите хоть строчку несправедливую, то есть что вы не истратили денег и что в семействе том, хотя бы и несчастном, не находилось недостойных лиц?

— А по-моему, так вы, со всеми вашими достоинствами, не стоите мизинца этой несчастной девушки, в которую вы камень бросаете.

— Стало быть, вы решились бы и ввести ее в общество вашей матери и сестры?

— Я это уж и сделал, если вам хочется знать. Я посадил ее сегодня рядом с маменькой и с Дуней.

— Родя! — вскричала Пульхерия Александровна.

Дунечка покраснела; Разумихин сдвинул брови. Лужин язвительно и высокомерно улыбнулся.

— Сами извольте видеть, Авдотья Романовна, — сказал он, — возможно ли тут соглашение? Надеюсь теперь, что дело это кончено и разъяснено, раз навсегда. Я же удалюсь, чтобы не мешать дальнейшей приятности родственного свидания и сообщению секретов (он встал со стула и взял шляпу). Но, уходя, осмелюсь заметить, что впредь надеюсь быть избавлен от подобных встреч и, так сказать, компромиссов. Вас же особенно буду просить, многоуважаемая Пульхерия Александровна, на эту же тему, тем паче что и письмо мое было адресовано вам, а не кому иначе.

Пульхерия Александровна немного обиделась.

— Чтой-то вы уж совсем нас во власть свою берете, Петр Петрович. Дуня вам рассказала причину, почему не исполнено ваше желание: она хорошие намерения имела. Да и пишете вы мне, точно приказываете. Неужели ж нам каждое желание ваше за

приказание считать? А я так вам напротив скажу, что вам следует теперь к нам быть особенно деликатным и снисходительным, потому что мы все бросили и, вам доверяясь, сюда приехали, а стало быть, и без того уж почти в вашей власти состоим.

— Это не совсем справедливо, Пульхерия Александровна, и особенно в настоящий момент, когда возведено о завещанных Марфой Петровной трех тысячах, что, кажется, очень кстати, судя по новому тону, которым заговорили со мной, — прибавил он язвительно.

— Судя по этому замечанию, можно действительно предположить, что вы рассчитывали на нашу беспомощность, — раздражительно заметила Дуня.

— Но теперь, по крайней мере, не могу так рассчитывать и особенно не желаю помешать сообщению секретных предложений Аркадия Ивановича Свидригайлова, которыми он уполномочил вашего братца и которые, как я вижу, имеют для вас капитальное, а может быть, и весьма приятное значение.

— Ах, боже мой! — вскрикнула Пульхерия Александровна.

Разумихину не сиделось на стуле.

— И тебе не стыдно теперь, сестра? — спросил Раскольников.

— Стыдно, Родя, — сказала Дуня. — Петр Петрович, подите вон! — обратилась она к нему, побледнев от гнева.

Петр Петрович, кажется, совсем не ожидал такого конца. Он слишком надеялся на себя, на власть свою и на беспомощность своих жертв. Не поверил и теперь. Он побледнел, и губы его затряслись.

— Авдотья Романовна, если я выйду теперь в эту дверь, при таком напутствии, то — рассчитайте это — я уж не ворочусь никогда. Обдумайте хорошенько! Мое слово твердо.

— Что за наглость! — вскричала Дуня, быстро подымаясь с места, — да я и не хочу, чтобы вы возвращались назад!

— Как? Так вот ка-а-к-с! — вскрикнул Лужин, совершенно не веровавший, до последнего мгновения, такой развязке, а потому совсем потерявший теперь нитку, — так так-то-с! Но знаете ли, Авдотья Романовна, что я мог бы и протестовать-с.

— Какое право вы имеете так говорить с ней! — горячо вступилась Пульхерия Александровна, — чем вы можете протестовать? А какие это ваши права? Ну, отдам я вам, такому, мою Дуню? Подите, оставьте нас совсем! Мы сами виноваты, что на несправедливое дело пошли, а всех больше я...

— Однако ж, Пульхерия Александровна, — горячился в бешенстве Лужин, — вы связали меня данным словом, от которого теперь отрекаетесь... и, наконец... наконец, я вовлечен был, так сказать, через то в издержки...

Эта последняя претензия до того была в характере Петра Петровича, что Раскольников, бледневший от гнева и от усилий сдержать его, вдруг не выдержал и — расхохотался. Но Пульхерия Александровна вышла из себя:

— В издержки? В какие же это издержки? Уж не про сундук ли наш вы говорите? Да ведь вам его кондуктор задаром перевез. Господи, мы же вас и связали! Да вы опомнитесь, Петр Петрович, это вы нас по рукам и по ногам связали, а не мы вас!

— Довольно, маменька, пожалуйста, довольно! — упрашивала Авдотья Романовна. — Петр Петрович, сделайте милость, уйдите!

— Уйду-с, но одно только последнее слово! — проговорил он, уже почти совсем не владея собою, — ваша мамаша, кажется, совершенно забыла, что я решился вас взять, так сказать, после городской молвы, разнесшейся по всему околотку насчет репутации вашей. Пренебрегая для вас общественным мнением и восстанавливая репутацию вашу, уж, конечно, мог бы я, весьма и весьма, понадеяться на возмездие и даже потребовать благодарности вашей... И только теперь открылись глаза мои! Вижу сам, что, может быть, весьма и весьма поступил опрометчиво, пренебрегая общественным голосом...

— Да он о двух головах, что ли! — крикнул Разумихин, вскакивая со стула и уже готовясь расправиться.

— Низкий вы и злой человек! — сказала Дуня.

— Ни слова! Ни жеста! — вскрикнул Раскольников, удерживая Разумихина; затем, подойдя чуть не в упор к Лужину:

— Извольте выйти вон! — сказал он тихо и раздельно, — и ни слова более, иначе...

Петр Петрович несколько секунд смотрел на него с бледным и искривленным от злости лицом, затем повернулся, вышел, и, уж конечно, редко кто-нибудь уносил на кого в своем сердце столько злобной ненависти, как этот человек на Раскольникова. Его, и его одного, он обвинял во всем. Замечательно, что, уже спускаясь с лестницы, он все еще воображал, что дело еще, может быть, совсем не потеряно и, что касается одних дам, даже «весьма и весьма» поправимое.

III

Главное дело было в том, что он, до самой последней минуты, никак не ожидал подобной развязки. Он куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, что две нищие и незащищенные женщины могут выйти из-под его власти. Убеждению этому много помогли тщеславие и та степень самоуверенности, которую лучше всего назвать самовлюбленностью. Петр Петрович, пробившись из ничтожества, болезненно привык любоваться собою, высоко ценил свой ум и способности и даже иногда, наедине, любовался своим лицом в зеркале. Но более всего на свете любил и ценил он, добытые трудом и всякими средствами, свои деньги: они равняли его со всем, что было выше его.

Напоминая теперь с горечью Дуне о том, что он решился взять ее, несмотря на худую о ней молву, Петр Петрович говорил вполне искренно и даже чувствовал глубокое негодование против такой «черной неблагодарности». А между тем, сватаясь тогда за Дуню, он совершенно уже был убежден в нелепости всех этих сплетен, опровергнутых всенародно самой Марфой Петровной и давно уже оставленных всем городишком, горячо оправдывавшим Дуню. Да он и сам не отрекся бы теперь от того, что все это уже знал и тогда. И тем не менее он все-таки высоко ценил свою решимость возвысить Дуню до себя и считал это подвигом. Выговаривая об этом сейчас Дуне, он выговаривал свою тайную, возлелеянную им мысль, на которую он уже не раз любовался, и понять не мог, как другие могли не любоваться на его подвиг. Явившись тогда с визитом к Раскольникову, он вошел с чувством благодетеля, готовящегося пожать плоды и выслушать весьма сладкие комплименты. И уж конечно, теперь, сходя с лестницы, он считал себя в высочайшей степени обиженным и непризнанным.

Дуня же была ему просто необходима; отказаться от нее для него было немислимо. Давно уже, уже несколько лет, со сластиею мечтал он о женитьбе, но все прикапливал денег и ждал. Он с упоением помышлял, в глубочайшем секрете, о девице благонравной и бедной (непреренно бедной), очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной и образованной, очень запуганной, чрезвычайно много испытавшей несчастий и вполне перед ним приникшей, такой, которая бы всю жизнь считала его — спасением своим, благоговела перед ним, подчинялась, удивлялась ему, и только ему одному. Сколько сцен, сколько сладостных эпизодов создал он, в воображении, на эту соблазнительную и игривую тему, отдыхая в тиши от дел! И вот мечта стольких лет почти уже осуществлялась: красота и образование Авдотьи Романовны поразили его; беспомощное положение ее раззадорило его до крайности. Тут являлось даже несколько более того, о чем он мечтал: явилась девушка гордая, характерная, добродетельная, воспитанием и развитием выше его (он чувствовал это), и такое-то существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно уничтожится перед ним, а он-то будет безгранично и всецело властвовать!.. Как нарочно, незадолго перед тем, после долгих соображений и ожиданий, он решил наконец окончательно переменить карьеру и вступить в более обширный круг деятельности, а с тем вместе мало-помалу перейти и в более высшее общество, о котором он давно уже с сладострастием подумывал... Одним словом,

он решился попробовать Петербурга. Он знал, что женщинами можно «весьма и весьма» много выиграть. Обаяние прелестной, добродетельной и образованной женщины могло удивительно скрасить его дорогу, привлечь к нему, создать ореол... и вот все рушилось! Этот теперешний внезапный, безобразный разрыв подействовал на него, как удар грома. Это была какая-то безобразная шутка, нелепость! Он только капельку покуражился; он даже не успел и высказаться, он просто пошутил, увлекся, а кончилось так серьезно! Наконец, ведь он уже даже любил по-своему Дуню, он уже властвовал над нею в мечтах своих — и вдруг!.. Нет! Завтра же, завтра же все это надо восстановить, залечить, исправить, а главное — уничтожить этого заносчивого молокососа мальчишку, который был всему причиной. С болезненным ощущением припоминался ему, тоже как-то невольно, Разумихин... но, впрочем, он скоро с этой стороны успокоился: «Еще бы и этого-то поставить с ним рядом!» Но кого он в самом деле серьезно боялся, — так это Свидригайлова... Одним словом, предстояло много хлопот.

.....
— Нет, я, я более всех виновата! — говорила Дунечка, обнимая и целуя мать, — я польстилась на его деньги, но, клянусь, брат, я и не воображала, чтоб это был такой недостойный человек! Если б я разглядела его раньше, я бы ни на что не польстилась. Не вини меня, брат!

— Бог избавил! Бог избавил! — бормотала Пульхерия Александровна, но как-то бессознательно, как будто еще не совсем взяв в толк все, что случилось.

Все радовались, через пять минут даже смеялись. Иногда только Дунечка бледнела и сдвигала брови, припоминая случившееся. Пульхерия Александровна и воображать не могла, что она тоже будет рада; разрыв с Лужиным представлялся ей еще утром страшною бедой. Но Разумихин был в восторге. Он не смел еще вполне его выразить, но весь дрожал как в лихорадке, как будто пятипудовая гиря свалилась с его сердца. Теперь он имеет право отдать им всю свою жизнь, служить им... Да мало ли что теперь! А впрочем, он еще пугливее гнал дальнейшие мысли и боялся своего воображения. Один только Раскольников сидел все на том же месте, почти угрюмый и даже рассеянный. Он, всего больше настаивавший на удалении Лужина, как будто всех меньше интересовался теперь случившимся. Дуня невольно подумала, что он все еще очень на нее сердится, а Пульхерия Александровна приглядывалась к нему боязливо.

— Что же сказал тебе Свидригайлов? — подошла к нему Дуня.

— Ах, да, да! — вскричала Пульхерия Александровна.

Раскольников поднял голову:

— Он хочет непременно подарить тебе десять тысяч рублей и при этом заявляет желание тебя однажды видеть в моем присутствии.

— Видеть! Ни за что на свете! — вскричала Пульхерия Александровна, — и как он смеет ей деньги предлагать!

Затем Раскольников передал (довольно сухо) разговор свой с Свидригайловым, пропустив о призраках Марфы Петровны, чтобы не вдаваться в излишнюю материю, и чувствуя отвращение заводить какой бы то ни было разговор, кроме самого необходимого.

— Что же ты ему отвечал? — спросила Дуня.

— Сперва сказал, что не передам тебе ничего. Тогда он объявил, что будет сам, всеми средствами, доискиваться свидания. Он уверял, что страсть его к тебе была блажью и что он теперь ничего к тебе не чувствует... Он не хочет, чтобы ты вышла за Лужина... Вообще же говорил сбивчиво.

— Как ты сам его объясняешь себе, Родя? Как он тебе показался?

— Признаюсь, ничего хорошо не понимаю. Предлагает десять тысяч, а сам говорил, что не богат. Объявляет, что хочет куда-то уехать, и через десять минут забывает, что об этом говорил. Вдруг тоже говорит, что хочет жениться и что ему уж невесту сватают... Конечно, у него есть цели, и всего вероятнее — дурные. Но опять как-то странно предположить, чтоб он так глупо приступил к делу, если б имел на тебя дурные

намерения... Я, разумеется, отказал ему, за тебя, в этих деньгах, раз навсегда. Вообще он мне очень странным показался, и... даже... с признаками как будто помешательства. Но я мог и ошибиться; тут просто, может быть, надувание своего рода. Смерть Марфы Петровны, кажется, производит на него впечатление.

— Упокой, Господи, ее душу! — воскликнула Пульхерия Александровна, — вечно, вечно за нее Бога буду молить! Ну что бы с нами было теперь, Дуня, без этих трех тысяч! Господи, точно с неба упали! Ах, Родя, ведь у нас утром всего три целковых за душой оставалось, и мы с Дунечкой только и рассчитывали, как бы часы где-нибудь поскорей заложить, чтобы не брать только у этого, пока сам не догадается.

Дуню как-то уж слишком поразило предложение Свидригайлова. Она все стояла задумавшись.

— Он что-нибудь ужасное задумал! — проговорила она почти шепотом про себя, чуть не содрогаясь.

Раскольников приметил этот чрезмерный страх.

— Кажется, придется мне не раз еще его увидеть, — сказал он Дуне.

— Будем следить! Я его выслежу! — энергически крикнул Разумихин. — Глаз не спущу! Мне Родя позволил. Он мне сам сказал давеча: «Береги сестру». А вы позволите, Авдотья Романовна?

Дуня улыбнулась и протянула ему руку, но забота не сходила с ее лица. Пульхерия Александровна робко на нее поглядывала; впрочем, три тысячи ее, видимо, успокаивали.

Через четверть часа все были в самом оживленном разговоре. Даже Раскольников хоть и не разговаривал, но некоторое время внимательно слушал. Ораторствовал Разумихин.

— И зачем, зачем вам уезжать! — с упоением разливался он восторженною речью, — и что вы будете делать в городишке? А главное, вы здесь все вместе и один другому нужны, уж как нужны, — поймите меня! Ну, хоть некоторое время... Меня же возьмите в друзья, в компаньоны, и уж уверяю, что затеем отличное предприятие. Слушайте, я вам в подробности это все растолкую — весь проект! У меня еще утром, когда ничего еще не случилось, в голове уж мелькало... Вот в чем дело: есть у меня дядя (я вас познакомлю; прескладной и препотенный старичонка!), а у этого дяди есть тысяча рублей капитала, а сам живет пенсионом и не нуждается. Второй год, как он пристаёт ко мне, чтоб я взял у него эту тысячу, а ему бы по шести процентов платил. Я штуку вижу: ему просто хочется мне помочь; но прошлого года мне было не надо, а нынешний год я только приезда его поджидал и решился взять. Затем вы дадите другую тысячу, из ваших трех, и вот и довольно на первый случай, вот мы и соединимся. Что ж мы будем делать?

Тут Разумихин принялся развивать свой проект и много толковал о том, как почти все наши книгопродавцы и издатели мало знают толку в своем товаре, а потому обыкновенно и плохие издатели, между тем как порядочные издания вообще окупаются и дают процент, иногда значительный. Об издательской-то деятельности и мечтал Разумихин, уже два года работавший на других и недурно знавший три европейских языка, несмотря на то что дней шесть назад сказал было Раскольникову, что в немецком «швах», с целью уговорить его взять на себя половину переводной работы и три рубля задатку: и он тогда соврал, и Раскольников знал, что он врет.

— Зачем, зачем же нам свое упускать, когда у нас одно из главнейших средств очутилось — собственные деньги? — горячился Разумихин. — Конечно, нужно много труда, но мы будем трудиться, вы, Авдотья Романовна, я, Родион... иные издания дают теперь славный процент! А главная основа предприятия в том, что будем знать, что именно надо переводить. Будем и переводить, и издавать, и учиться, всё вместе. Теперь я могу быть полезен, потому что опыт имею. Вот уже два года скоро по издателям шныряю и всю их подноготную знаю: не святые горшки лепят, поверьте! И зачем, зачем мимо рта кусок проносить! Да я сам знаю, и в тайне храню, сочинения два-три таких, что за одну только мысль перевести и издать их можно рублей по сту взять за каждую книгу, а за одну из них я и пятисот рублей за мысль не возьму. И что вы думаете, сообщу я кому, пожалуй,

еще усумнится, такое дубье! А уж насчет собственно хлопот по делам, типографий, бумаги, продажи, это вы мне поручите! Все закоулки знаю! Помаленьку начнем, до большого дойдем, по крайней мере прокормиться чем будет, и уж во всяком случае свое вернем.

У Дуни глаза блестели.

— То, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий Прокофьевич, — сказала она.

— Я тут, конечно, ничего не знаю, — отозвалась Пульхерия Александровна, — может, оно и хорошо, да опять ведь и бог знает. Ново как-то, неизвестно. Конечно, нам остаться здесь необходимо, хоть на некоторое время...

Она посмотрела на Родю.

— Как ты думаешь, брат? — сказала Дуня.

— Я думаю, что у него очень хорошая мысль, — ответил он. — О фирме, разумеется, мечтать заранее не надо, но пять-шесть книг действительно можно издать с несомненным успехом. Я и сам знаю одно сочинение, которое непременно пойдет. А что касается до того, что он сумеет повести дело, так в этом нет и сомнения: дело смыслит... Впрочем, будет еще время вам сговориться...

— Ура! — закричал Разумихин, — теперь стойте, здесь есть одна квартира, в этом же доме, от тех же хозяев. Она особая, отдельная, с этими номерами не сообщается, и меблированная, цена умеренная, три [горенки](#). Вот на первый раз и займите. Часы я вам завтра заложу и принесу деньги, а там все уладится. А главное, можете все трое вместе жить, и Родя с вами... Да куда ж ты, Родя?

— Как, Родя, ты уж уходишь? — даже с испугом спросила Пульхерия Александровна.

— В такую-то минуту! — крикнул Разумихин.

Дуня смотрела на брата с недоверчивым удивлением. В руках его была фуражка; он готовился выйти.

— Чтой-то вы точно погрёбаёте меня али навеки прощаетесь, — как-то странно проговорил он.

Он как будто улыбнулся, но как будто это была и не улыбка.

— А ведь кто знает, может, и последний раз видимся, — прибавил он нечаянно.

Он было подумал это про себя, но как-то само проговорилось вслух.

— Да что с тобой! — вскрикнула мать.

— Куда идешь ты, Родя? — как-то странно спросила Дуня.

— Так, мне очень надо, — ответил он смутно, как бы колеблясь в том, что хотел сказать. Но в бледном лице его была какая-то резкая решимость.

— Я хотел сказать... идя сюда... я хотел сказать вам, маменька... и тебе, Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись. Я себя нехорошо чувствую, я не спокоен... я после приду, сам приду, когда... можно будет. Я вас помню и люблю... Оставьте меня! Оставьте меня одного! Я так решил, еще прежде... Я это наверно решил... Что бы со мною ни было, погибну я или нет, я хочу быть один. Забудьте меня совсем. Это лучше... Не справляйтесь обо мне. Когда надо, я сам приду или... вас позову. Может быть, все воскреснет!.. А теперь, когда любите меня, откажитесь... Иначе я вас возненавижу, я чувствую... Прощайте!

— Господи! — вскрикнула Пульхерия Александровна.

И мать и сестра были в страшном испуге; Разумихин тоже.

— Родя, Родя! Примиришься с нами, будем по-прежнему! — воскликнула бедная мать.

Он медленно повернулся к дверям и медленно пошел из комнаты. Дуня догнала его.

— Брат! Что ты с матерью делаешь! — прошептала она со взглядом, горевшим от негодования.

Он тяжело посмотрел на нее.

— Ничего, я приду, я буду ходить! — пробормотал он вполголоса, точно не вполне сознавая, о чем хочет сказать, и вышел из комнаты.

— Бесчувственный, злобный эгоист! — вскрикнула Дуня.

— Он су-ма-сшедший, а не бесчувственный! Он помешанный! Неужели вы этого не видите? Вы бесчувственная после этого!..— горячо прошептал Разумихин над самым ее ухом, крепко стиснув ей руку.

— Я сейчас приду! — крикнул он, обращаясь к помертвевшей Пульхерии Александровне, и выбежал из комнаты.

Раскольников поджидал его в конце коридора.

— Я так и знал, что ты выбежишь, — сказал он. — Воротись к ним и будь с ними... Будь и завтра у них... и всегда... Я... может, приду... если можно. Прощай!

И, не протягивая руки, он пошел от него.

— Да куда ты? Что ты? Да что с тобой? Да разве можно так!..— бормотал совсем потерявшийся Разумихин.

Раскольников остановился еще раз.

— Раз навсегда: никогда ни о чем меня не спрашивай. Нечего мне тебе отвечать... Не приходи ко мне. Может, я и приду сюда... Оставь меня, а их... *не оставь*. Понимаешь меня?

В коридоре было темно; они стояли возле лампы. С минуту они смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проникал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними... Какая-то идея проскользнула, как будто намек; что-то ужасное, безобразное и вдруг понятное с обеих сторон... Разумихин побледнел как мертвец.

— Понимаешь теперь?.. — сказал вдруг Раскольников с болезненно искривившимся лицом. — Воротись, ступай к ним, — прибавил он вдруг и, быстро повернувшись, пошел из дому...

Не стану теперь описывать, что было в тот вечер у Пульхерии Александровны, как воротился к ним Разумихин, как их успокаивал, как клялся, что надо дать отдохнуть Родю в болезни, клялся, что Родя придет непременно, будет ходить каждый день, что он очень, очень расстроен, что не надо раздражать его; как он, Разумихин, будет следить за ним, достанет ему доктора хорошего, лучшего, целый консилиум... Одним словом, с этого вечера Разумихин стал у них сыном и братом.

IV

А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный, старый и зеленого цвета. Он доискался дворника и получил от него неопределенные указания, где живет Капернаумов портной. Отыскав в углу на дворе вход на узкую и темную лестницу, он поднялся, наконец, во второй этаж и вышел на галерею, обходившую его со стороны двора. Покамест он бродил в темноте и в недоумении, где бы мог быть вход к Капернаумову, вдруг, в трех шагах от него, отворилась какая-то дверь; он схватился за нее машинально.

— Кто тут? — тревожно спросил женский голос.

— Это я... к вам, — ответил Раскольников и вошел в крошечную переднюю. Тут, на продавленном стуле, в искривленном медном подсвечнике, стояла свеча.

— Это вы! Господи! — слабо вскрикнула Соня и стала как вкопанная.

— Куда к вам? сюда?

И Раскольников, стараясь не глядеть на нее, поскорей прошел в комнату.

Через минуту вошла со свечой и Соня, поставила свечку и стала сама перед ним, совсем растерявшаяся, вся в невыразимом волнении и, видимо, испуганная его неожиданным посещением. Вдруг краска бросилась в ее бледное лицо, и даже слезы выступили на глазах... Ей было и тошно, и стыдно, и сладко... Раскольников быстро отвернулся и сел на стул к столу. Мельком успел он охватить взглядом комнату.

Это была большая комната, но чрезвычайно низкая, единственная, отдававшаяся от

Капернаутовых, запертая дверь к которым находилась в стене слева. На противоположной стороне, в стене справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. Там уже была другая, соседняя квартира, под другим номером. Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели. В углу, направо, находилась кровать; подле нее, ближе к двери, стул. По той же стене, где была кровать, у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, покрытый синенькою скатертью; около стола два плетеных стула. Затем у противоположной стены, поблизости от острого угла, стоял небольшой простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте. Вот все, что было в комнате. Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой. Бедность была видима; даже у кровати не было занавесок.

Соня молча смотрела на своего гостя, так внимательно и бесцеремонно осматривавшего ее комнату, и даже начала, наконец, дрожать в страхе, точно стояла перед судьей и решителем своей участи.

— Я поздно... Одиннадцать часов есть? — спросил он, все еще не подымая на нее глаз.

— Есть, — пробормотала Соня. — Ах да, есть! — заторопилась она вдруг, как будто в этом был для нее весь исход, — сейчас у хозяев часы пробили... и я сама слышала... Есть.

— Я к вам в последний раз пришел, — угрюмо продолжал Раскольников, хотя и теперь был только в первый, — я, может быть, вас не увижу больше...

— Вы... едете?

— Не знаю... всё завтра...

— Так вы не будете завтра у Катерины Ивановны? — дрогнул голос у Сони.

— Не знаю. Всё завтра утром... Не в том дело: я пришел одно слово сказать...

Он поднял на нее свой задумчивый взгляд и вдруг заметил, что он сидит, а она все еще стоит перед ним.

— Что ж вы стоите? Сядьте, — проговорил он вдруг переменявшимся, тихим и ласковым голосом.

Она села. Он приветливо и почти с состраданием посмотрел на нее с минуту.

— Какая вы худенькая! Вон какая у вас рука! Совсем прозрачная. Пальцы, как у мертвой.

Он взял ее руку. Соня слабо улыбнулась.

— Я и всегда такая была, — сказала она.

— Когда и дома жили?

— Да.

— Ну, да уж конечно! — произнес он отрывисто, и выражение лица его, и звук голоса опять вдруг переменялись. Он еще раз огляделся кругом.

— Это вы от Капернаутова нанимаете?

— Да-с...

— Они там, за дверью?

— Да... У них тоже такая же комната.

— Все в одной?

— В одной-с.

— Я бы в вашей комнате по ночам боялся, — угрюмо заметил он.

— Хозяева очень хорошие, очень ласковые, — отвечала Соня, все еще как бы не опомнившись и не сообразившись, — и вся мебель, и все... все хозяйское. И они очень добрые, и дети тоже ко мне часто ходят...

— Это косноязычные-то?

— Да-с... Он заикается и хром тоже. И жена тоже... Не то что заикается, а как будто не

все выговаривает. Она добрая, очень. А он бывший дворовый человек. А детей семь человек... и только старший один заикается, а другие просто больные... а не заикаются... А вы откуда про них знаете? — прибавила она с некоторым удивлением.

— Мне ваш отец все тогда рассказал. Он мне все про вас рассказал... И про то, как вы в шесть часов пошли, а в девятом назад пришли, и про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла.

Соня смутилась.

— Я его точно сегодня видела, — прошептала она нерешительно.

— Кого?

— Отца. Я по улице шла, там подле, на углу, в десятом часу, а он будто впереди идет. И точно как будто он. Я хотела уж зайти к Катерине Ивановне...

— Вы гуляли?

— Да, — отрывисто прошептала Соня, опять смутившись и потупившись.

— Катерина Ивановна ведь вас чуть не била, у отца-то?

— Ах, нет, что вы, что вы это, нет! — с каким-то даже испугом посмотрела на него Соня.

— Так вы ее любите?

— Ее? Да ка-а-ак же! — протянула Соня жалобно и с страданием, сложив вдруг руки. — Ах! вы ее... Если б вы только знали. Ведь она совсем как ребенок... Ведь у ней ум совсем как помешан... от горя. А какая она умная была... какая великодушная... какая добрая! Вы ничего, ничего не знаете... ах!

Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, в глазах выразилась мука. Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то *ненасытимое* сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее.

— Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть бы и била, так что ж! Ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете... Это такая несчастная, ах, какая несчастная! И больная... Она справедливости ищет... Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть, и требует... И хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это все нелзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается... Как ребенок, как ребенок! Она справедливая, справедливая!

— А с вами что будет?

Соня посмотрела вопросительно.

— Они ведь на вас остались. Оно, правда, и прежде все было на вас, и покойник на похмелье к вам же ходил просить. Ну, а теперь вот что будет?

— Не знаю, — грустно произнесла Соня.

— Они там останутся?

— Не знаю, они на той квартире должны; только хозяйка, слышно, говорила сегодня, что отказать хочет, а Катерина Ивановна говорит, что и сама ни минуты не останется.

— С чего ж это она так храбрится? На вас надеется?

— Ах, нет, не говорите так!.. Мы одно, заодно живем, — вдруг опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точь-в-точь как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая птичка. — Да и как же ей быть? Ну как же, как же быть? — спрашивала она, горячась и волнуясь. — А сколько, сколько она сегодня плакала! У ней ум мешается, вы этого не заметили? Мешается; то тревожится, как маленькая, о том, чтобы завтра все прилично было, закуски были и всё... то руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать начнет головой об стену, как в отчаянии. А потом опять утешится, на вас она все надеется: говорит, что вы теперь ей помощник и что она где-нибудь немного денег займет и поедет в свой город, со мною, и пансион для благородных девиц заведет, а меня возьмет надзирательницей, и начнется у нас совсем новая, прекрасная жизнь, и целует меня, обнимает, утешает, и ведь так верит! так верит фантазиям-то! Ну разве можно ей

противоречить? А сама-то весь-то день сегодня моет, чистит, чинит, корыто сама, с своею слабенькою-то силой, в комнату втащила, запыхалась, так и упала на постель; а то мы в ряды еще с ней утром ходили, [башимачки Полечке и Лене](#) купить, потому у них все развалились, только у нас денег-то и не достало по расчету, очень много не достало, а она такие миленькие ботиночки выбрала, потому у ней вкус есть, вы не знаете... Тут же в лавке так и заплакала, при купцах-то, что не достало... Ах, как было жалко смотреть.

— Ну и понятно после того, что вы... так живете, — сказал с горькой усмешкой Раскольников.

— А вам разве не жалко? не жалко? — вскинулась опять Соня, — ведь вы, я знаю, вы последнее сами отдали, еще ничего не видя. А если бы вы все-то видели, о господи! А сколько, сколько раз я ее в слезы вводила! Да на прошлой еще неделе! Ох, я! Всего за неделю до его смерти. Я жестоко поступила! И сколько, сколько раз я это делала. Ах, как теперь, целый день вспоминать было больно!

Соня даже руки ломала, говоря, от боли воспоминания.

— Это вы-то жестокая?

— Да я, я! Я пришла тогда, — продолжала она, плача, — а покойник и говорит: «прочти мне, говорит, Соня, у меня голова что-то болит, прочти мне... вот книжка», — какая-то книжка у него, у Андрея Семеныча достал, у Лебезятникова, тут живет, он такие смешные книжки всё доставал. А я говорю: «мне идти пора», так и не хотела прочесть, а зашла я к ним, главное, чтоб воротнички показать Катерине Ивановне; мне Лизавета, торговка, воротнички и нарукавнички дешево принесла, хорошенькие, новенькие и с узором. А Катерине Ивановне очень понравились, она надела и в зеркало посмотрела на себя, и очень, очень ей понравились: «подари мне, говорит, их, Соня, пожалуйста». *Пожалуйста* попросила, и уж так ей хотелось. А куда ей надевать? Так: прежнее, счастливое время только вспомнилось! Смотрится на себя в зеркало, любит, и никаких-то, никаких-то у ней платьев нет, никаких-то вещей, вот уж сколько лет! И ничего-то она никогда ни у кого не попросит; гордая, сама скорей отдаст последнее, а тут вот попросила, так уж ей понравились! А я и отдать пожалела, «на что вам, говорю, Катерина Ивановна?». Так и сказала, «на что». Уж этого-то не надо было бы ей говорить! Она так на меня посмотрела, и так ей тяжело-тяжело стало, что я отказала, и так это было жалко смотреть... И не за воротнички тяжело, а за то, что я отказала, я видела. Ах, так бы, кажется, теперь все воротила, все переделала, все эти прежние слова... Ох, я... да что!.. вам ведь все равно!

— Эту Лизавету торговку вы знали?

— Да... А вы разве знали? — с некоторым удивлением переспросила Соня.

— Катерина Ивановна в чахотке, в злой; она скоро умрет, — сказал Раскольников, помолчав и не ответив на вопрос.

— Ох, нет, нет, нет! — И Соня бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы упрашивая, чтобы нет.

— Да ведь это ж лучше, коль умрет.

— Нет, не лучше, не лучше, совсем не лучше! — испуганно и безотчетно повторяла она.

— А дети-то? Куда ж вы тогда возьмете их, коль не к вам?

— Ох, уж не знаю! — вскрикнула Соня почти в отчаянии и схватилась за голову. Видно было, что эта мысль уж много-много раз в ней самой мелькала, и он только спугнул опять эту мысль.

— Ну, а коль вы, еще при Катерине Ивановне, теперь, заболите и вас в больницу свезут, ну что тогда будет? — безжалостно настаивал он.

— Ах, что вы, что вы! Этого-то уж не может быть! — И лицо Сони искривилось страшным испугом.

— Как не может быть? — продолжал Раскольников с жесткой усмешкой, — не застрахованы же вы? Тогда что с ними станет? На улицу всею гурьбой пойдут, она

будет кашлять и просить и об стену где-нибудь головой стучать, как сегодня, а дети плакать... А там упадет, в часть свезут, в больницу, умрет, а дети...

— Ох, нет!.. Бог этого не попустит! — вырвалось наконец из стесненной груди у Сони. Она слушала, с мольбой смотря на него и складывая в немой просьбе руки, точно от него все и зависело.

Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске.

— А копить нельзя? На черный день откладывать? — спросил он, вдруг останавливаясь перед ней.

— Нет, — прошептала Соня.

— Разумеется, нет! А пробовали? — прибавил он чуть не с насмешкой.

— Пробовала.

— И сорвалось! Ну, да разумеется! Что и спрашивать!

И опять он пошел по комнате. Еще прошло с минуту.

— Не каждый день получаете-то?

Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо.

— Нет, — прошептала она с мучительным усилием.

— С Полечкой, наверно, то же самое будет, — сказал он вдруг.

— Нет! нет! Не может быть, нет! — как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. — Бог, Бог такого ужаса не допустит!..

— Других допускает же.

— Нет, нет! Ее Бог защитит, Бог!.. — повторяла она, не помня себя.

— Да, может, и Бога-то совсем нет, — с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее.

Лицо Сони вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо.

— Вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается; у вас самой ум мешается, — проговорил он после некоторого молчания.

Прошло минут пять. Он все ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец, подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел, как совсем сумасшедший.

— Что вы, что вы это? Передо мной! — пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжало вдруг ей сердце.

Он тотчас же встал.

— Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, — как-то дико произнес он и отошел к окну. — Слушай, — прибавил он, воротившись к ней через минуту, — я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца... и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою.

— Ах, что вы это им сказали! И при ней? — испуганно вскрикнула Соня, — сидеть со мной! Честь! Да ведь я... бесчестная, я великая, великая грешница! Ах, что вы это сказали!

— Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так, — прибавил он почти восторженно, — а пуще всего тем ты грешница, что *понапрасну* умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас! Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама (только стоит глаза раскрыть), что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь! Да скажи же мне наконец, — проговорил он, почти в исступлении, — как этаким позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было

бы прямо головой в воду и разом покончить!

— А с ними-то что будет? — слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не удивившись его предложению. Раскольников странно посмотрел на нее.

Он все прочел в одном ее взгляде. Стало быть, действительно у ней самой была уже эта мысль. Может быть, много раз и серьезно обдумывала она в отчаянии, как бы разом покончить, и до того серьезно, что теперь почти и не удивилась предложению его. Даже жестокости слов его не заметила (смысла укоров его и особенного взгляда его на ее позор она, конечно, тоже не заметила, и это было видимо для него). Но он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее, и уже давно, мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же, что же бы могло, думал он, до сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значили для нее эти бедные, маленькие дети-сироты и эта жалкая, полусумасшедшая Катерина Ивановна, с своею чахоткой и со стуканием об стену головою.

Но тем не менее ему опять-таки было ясно, что Соня с своим характером и с тем все-таки развитием, которое она получила, ни в каком случае не могла так оставаться. Все-таки для него составляло вопрос: почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду? Конечно, он понимал, что положение Сони есть явление случайное в обществе, хотя, к несчастью, далеко не одиночное и не исключительное. Но эта-то самая случайность, эта некоторая развитость и вся предыдущая жизнь ее могли бы, кажется, сразу убить ее при первом шаге на отвратительной дороге этой. Что же поддерживало ее? Не разврат же? Весь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически; настоящий разврат еще не проник ни одною каплей в ее сердце: он это видел; она стояла перед ним наяву...

«Ей три дороги, — думал он, — броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом, или... или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце». Последняя мысль была ему всего отвратительнее; но он был уже скептик, он был молод, отвлечен и, стало быть, жесток, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее.

«Но неужели ж это правда, — воскликнул он про себя, — неужели ж и это создание, еще сохранившее чистоту духа, сознательно втянется наконец в эту мерзкую, смрадную яму? Неужели это втягивание уже началось и неужели потому только она и могла вытерпеть до сих пор, что порок уже не кажется ей так отвратительным? Нет, нет, быть того не может! — восклицал он, как давеча Соня, — нет, от канавы удерживала ее до сих пор мысль о грехе, и *они, те...* Если же она до сих пор еще не сошла с ума... Но кто же сказал, что она не сошла уже с ума? Разве она в здравом рассудке? Разве так можно говорить, как она? Разве в здравом рассудке так можно рассуждать, как она? Разве так можно сидеть над погибелью, прямо над смрадною ямой, в которую уже ее втягивает, и махать руками и уши затыкать, когда ей говорят об опасности? Что она, уж не чуда ли ждет? И наверно так. Разве все это не признаки помешательства?»

Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему даже более нравился, чем всякий другой. Он начал пристальнее всматриваться в нее.

— Так ты очень молишься Богу-то, Соня? — спросил он ее.

Соня молчала, он стоял подле нее и ждал ответа.

— Что ж бы я без Бога-то была? — быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку.

«Ну, так и есть!» — подумал он.

— А тебе Бог что за это делает? — спросил он, испытывая дальше.

Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Слабенькая грудь ее вся колыхалась от волнения.

— Молчите! Не спрашивайте! Вы не стоите!.. — вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него.

«Так и есть! так и есть!» — повторял он настойчиво про себя.

— Все делает! — быстро прошептала она, опять потупившись.

«Вот исход! Вот и объяснение исхода!» — решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая ее.

С новым, странным, почти болезненным, чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и все это казалось ему более и более странным, почти невозможным. «Юродивая! юродивая!» — твердил он про себя.

На комод лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее; теперь же взял и посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете.

— Это откуда? — крикнул он ей через комнату. Она стояла все на том же месте, в трех шагах от стола.

— Мне принесли, — ответила она будто нехотя и не взглядывая на него.

— Кто принес?

— Лизавета принесла, я просила.

«Лизавета! странно!» — подумал он. Все у Сони становилось для него как-то страннее и чуднее, с каждой минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать.

— Где тут про Лазаря? — спросил он вдруг.

Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу.

— Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня.

Она искоса глянула на него.

— Не там смотрите... [в четвертом Евангелии...](#) — сурово прошептала она, не подвигаясь к нему.

— Найди и прочти мне, — сказал он, сел, облокотился на стол, подпер рукой голову и угрюмо уставился в сторону, приготовившись слушать.

«Недели через три [на седьмую версту, милости просим!](#) Я, кажется, сам там буду, если еще хуже не будет», — бормотал он про себя.

Соня нерешительно ступила к столу, недоверчиво выслушав странное желание Раскольникова. Впрочем, взяла книгу.

— Разве вы не читали? — спросила она, глянув на него через стол, исподлобья. Голос ее становился все суровее и суровее.

— Давно... Когда учился. Читай!

— А в церкви не слышали?

— Я... не ходил. А ты часто ходишь?

— Н-нет, — прошептала Соня.

Раскольников усмехнулся.

— Понимаю... И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить?

— Пойду. Я и на прошлой неделе была... панихиду служила.

— По ком?

— По Лизавете. Ее топором убили.

Нервы его раздражались все более и более. Голова начала кружиться.

— Ты с Лизаветой дружна была?

— Да... Она была справедливая... Она приходила... редко... нельзя было. Мы с ней читали и... говорили. Она Бога узрит.

Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость: какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе — юродивые.

«Тут и сам станешь юродивым! заразительно!» — подумал он. — Читай! — воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно.

Соня все колебалась. Сердце ее стучало. Не смела как-то она ему читать. Почти с мучением смотрел он на «несчастную помешанную».

— Зачем вам? Ведь вы не веруете?.. — прошептала она тихо и как-то задыхаясь.

— Читай! Я так хочу! — настаивал он, — читала же Лизавете.

Соня развернула книгу и отыскивала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и все не выговаривалось первого слова.

«Был же болен некто Лазарь, из Вифании...» — произнесла она, наконец, с усилием, но вдруг, с третьего слова, голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пресекло, и в груди стеснилось.

Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все *свое*. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, *тайну* ее, может быть, еще с самого отрочества, еще в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал наверно, что хоть и тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно *ему*, чтоб он слышал, и непременно *теперь* — «что бы там ни вышло потом!»... Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения... Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекшую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение одиннадцатой главы Евангелия Иоаннова. Так дочла она до 19-го стиха:

«И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог».

Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос...

«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: *Я есть воскресение и жизнь*; верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему:

(и, как бы с болью переведя дух, Соня отдельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала:)

Так, Господи! Я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».

Она было остановилась, быстро подняла было на *него* глаза, но поскорей пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону. Дочли до 32-го стиха.

«Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его; и сказала ему: Господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. И сказал: где вы положили его? Говорят ему: Господи! поди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?»

Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее: да, так и есть! Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: «не мог ли сей, отверзший очи слепому...» — она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют... «И он, он — тоже ослепленный и неверующий, — он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же», — мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания.

«Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: Отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи! уже смердит: ибо *четыре* дни, как он во гробе».

Она энергично ударила на слово: *четыре*.

«Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. *И вышел умерший*,

(громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы воочию сама видела:) обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его; пусть идет.

Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него».

Далее она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула.

— Все об воскресении Лазаря, — отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут пять или более.

— Я о деле пришел говорить, — громко и нахмурившись проговорил вдруг Раскольников, встал и подошел к Соне. Та молча подняла на него глаза. Взгляд его был особенно суров, и какая-то дикая решимость выражалась в нем.

— Я сегодня родных бросил, — сказал он, — мать и сестру. Я не пойду к ним теперь. Я там все разорвал.

— Зачем? — как ошеломленная спросила Соня. Давешняя встреча с его матерью и сестрой оставила в ней необыкновенное впечатление, хотя и самой ей неясное. Извешение о разрыве выслушала она почти с ужасом.

— У меня теперь одна ты, — прибавил он. — Пойдем вместе... Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем.

Глаза его сверкали. «Как полоумный!» — подумала, в свою очередь, Соня.

— Куда идти? — в страхе спросила она и невольно отступила назад.

— Почему ж я знаю? Знаю только, что по одной дороге, наверно знаю, — и только. Одна цель!

Она смотрела на него и ничего не понимала. Она понимала только, что он ужасно, бесконечно несчастен.

— Никто ничего не поймет из них, если ты будешь говорить им, — продолжал он, — а я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел.

— Не понимаю... — прошептала Соня.

— Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила... смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... *свою* (это все равно!). Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на Сенной... Но ты выдержать не можешь и, если останешься *одна*, сойдешь с ума, как и я. Ты уж и теперь как помешанная; стало быть, нам вместе идти, по одной дороге! Пойдем!

— Зачем? Зачем вы это! — проговорила Соня, странно и мятежно взволнованная его словами.

— Зачем? Потому что так нельзя оставаться — вот зачем! Надо же, наконец, рассудить серьезно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что Бог не допустит! Ну что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Та не в уме и чахоточная, умрет скоро, а дети? Разве Полечка не погибнет? Неужели не видала ты здесь детей, по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор. А ведь

дети — образ Христов: «Сих есть Царствие Божие». Он велел их чтить и любить, они будущее человечество...

— Что же, что же делать? — истерически плача и ломая руки, повторяла Соня.

— Что делать? Сломать что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Что? Не понимаешь? После поймешь... Свобода и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Помни это! Это мое тебе напутствие! Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про все сама, и тогда припомни эти теперешние слова. И когда-нибудь, потом, через годы, с жизнью, может, и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай!

Соня вся вздрогнула от испуга.

— Да разве вы знаете, кто убил? — спросила она, леденя от ужаса и дико смотря на него.

— Знаю и скажу... Тебе, одной тебе! Я тебя выбрал. Я не прощения приду просить к тебе, я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил и когда Лизавета была жива, я это подумал. Прощай. Руки не давай. Завтра!

Он вышел. Соня смотрела на него как на помешанного; но она и сама была как безумная и чувствовала это. Голова у ней кружилась. «Господи! как он знает, кто убил Лизавету? Что значили эти слова? Страшно это!» Но в то же время *мысль* не приходила ей в голову. Никак! Никак!.. «О, он должен быть ужасно несчастен!.. Он бросил мать и сестру. Зачем? Что было? И что у него в намерениях? Чтó это он ей говорил? Он ей поцеловал ногу и говорил... говорил (да, он ясно это сказал), что без нее уже жить не может... О Господи!»

В лихорадке и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, чтение Евангелия и он... он, с его бледным лицом, с горящими глазами... Он целует ей ноги, плачет... О, Господи!

За дверью справа, за тою самою дверью, которая отделяла квартиру Сони от квартиры Гертруды Карловны Ресслих, была комната промежуточная, давно уже пустая, принадлежавшая к квартире г-жи Ресслих и отдававшаяся от нее внаем, о чем и выставлены были ярлычки на воротах и наклеены бумажечки на стеклах окон, выходивших на канаву. Соня издавна привыкла считать эту комнату необитаемою. А между тем, все это время, у двери в пустой комнате простоял господин Свидригайлов и, притаившись, подслушивал. Когда Раскольников вышел, он постоял, подумал, сходил на цыпочках в свою комнату, смежную с пустою комнатою, достал стул и неслышно перенес его к самым дверям, ведущим в комнату Сони. Разговор показался ему занимательным и знаменательным и очень, очень понравился, — до того понравился, что он и стул перенес, чтобы на будущее время, хоть завтра например, не подвергаться опять неприятности простоять целый час на ногах, а устроиться покомфортнее, чтоб уж во всех отношениях получить полное удовольствие.

V

Когда на другое утро, ровно в одиннадцать часов, Раскольников вошел в дом —й части, в отделение пристава следственных дел, и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу, то он даже удивился тому, как долго не принимали его: прошло по крайней мере десять минут, пока его позвали. А по его расчету, должны бы были, кажется, так сразу на него и наброситься. Между тем он стоял в приемной, а мимо него ходили и проходили люди, которым, по-видимому, никакого до него не было дела. В следующей комнате, похожей на канцелярию, сидело и писало несколько писцов, и очевидно было, что никто из них даже понятия не имел: кто и что такое Раскольников? Беспокойным и

подозрительным взглядом следил он кругом себя, высматривая: нет ли около него хоть какого-нибудь конвойного, какого-нибудь таинственного взгляда, назначенного его стеречь, чтоб он куда не ушел? Но ничего подобного не было: он видел только одни канцелярские, мелко-озабоченные лица, потом еще каких-то людей, и никому-то не было до него никакой надобности: хоть иди он сейчас же на все четыре стороны. Все тверже и тверже укреплялась в нем мысль, что если бы действительно этот загадочный вчерашний человек, этот призрак, явившийся из-под земли, все знал и все видел, — так разве дали бы ему, Раскольникову, так стоять теперь и спокойно ждать? И разве ждали бы его здесь до одиннадцати часов, пока ему самому заблагорассудилось пожаловать? Выходило, что или тот человек еще ничего не донес, или... или просто он ничего тоже не знает и сам, своими глазами ничего не видал (да и как он мог видеть?), а стало быть, все это, вчерашнее, случившееся с ним, Раскольниковым, опять-таки было призрак, преувеличенный раздраженным и больным воображением его. Эта догадка, еще даже вчера, во время самых сильных тревог и отчаяния, начала укрепляться в нем. Передумав все это теперь и готовясь к новому бою, он почувствовал вдруг, что он дрожит, — и даже негодование закипело в нем при мысли, что он дрожит от страха перед ненавистным Порфирием Петровичем. Всего ужаснее было для него встретиться с этим человеком опять: он ненавидел его без меры, бесконечно, и даже боялся своею ненавистью как-нибудь обнаружить себя. И так сильно было его негодование, что тотчас же прекратило дрожь; он приготовился войти с холодным и дерзким видом и дал себе слово как можно больше молчать, вглядываться и вслушиваться и, хоть на этот раз по крайней мере, во что бы то ни стало победить болезненно раздражительную натуру свою. В это самое время его позвали к Порфирию Петровичу.

Оказалось, что в эту минуту Порфирий Петрович был у себя в кабинете один. Кабинет его была комната ни большая, ни маленькая; стояли в ней: большой письменный стол перед диваном, обитым клеенкой, бюро, шкаф в углу и несколько стульев — всё казенной мебели, из желтого отполированного дерева. В углу, в задней стене, или, лучше сказать, в перегородке, была запертая дверь: там, далее, за перегородкой, должны были, стало быть, находиться еще какие-то комнаты. При входе Раскольникова Порфирий Петрович тотчас же притворил дверь, в которую тот вошел, и они остались наедине. Он встретил своего гостя, по-видимому, с самым веселым и приветливым видом, и только уже несколько минут спустя Раскольников, по некоторым признакам, заметил в нем как бы замешательство, — точно его вдруг сбили с толку или застали на чем-нибудь очень уединенном и скрытном.

— А, почтеннейший! Вот и вы... в наших краях... — начал Порфирий, протянув ему обе руки. — Ну, садитесь-ка, батюшка! Али вы, может, не любите, чтобы вас называли почтеннейшим и... батюшка, — этак *tout court*? За фамильярность, пожалуйста, не сочтите... Вот сюда-с, на диванчик.

Раскольников сел, не сводя с него глаз.

«В наших краях», извинения в фамильярности, французское словцо «*tout court*» и проч. и проч. — все это были признаки характерные. «Он, однако ж, мне обе руки-то протянул, а ни одной ведь не дал, отнял вовремя», — мелькнуло в нем подозрительно. Оба следили друг за другом, но, только что взгляды их встречались, оба, с быстротою молнии, отводили их один от другого.

— Я вам принес эту бумажку... об часах-то... вот-с. Так ли написано или опять переписывать?

— Что? Бумажка? Так, так... не беспокойтесь, так точно-с, — проговорил, как бы спеша куда-то, Порфирий Петрович и, уже проговорив это, взял бумагу и просмотрел ее. — Да, точно так-с. Больше ничего и не надо, — подтвердил он тою же скороговоркой и положил бумагу на стол. Потом, через минуту, уже говоря о другом, взял ее опять со стола и переложил к себе на бюро.

— Вы, кажется, говорили вчера, что желали бы спросить меня... форменно... о моем

знакомстве с этой... убитой? — начал было опять Раскольников, — «ну зачем я вставил *кажется?* — промелькнуло в нем как молния. — Ну зачем я так беспокоюсь о том, что вставил это *кажется?*» — мелькнула в нем тотчас же другая мысль как молния.

И он вдруг ощутил, что мнительность его, от одного соприкосновения с Порфирием, от двух только слов, от двух только взглядов, уже разрослась в одно мгновение в чудовищные размеры... и что это страшно опасно: нервы раздражаются, волнение увеличивается. «Беда! Беда!.. Опять проговорюсь».

— Да-да-да! Не беспокойтесь! Время терпит, время терпит-с, — бормотал Порфирий Петрович, похаживая взад и вперед около стола, но как-то без всякой цели, как бы кидаясь то к окну, то к бюро, то опять к столу, то избегая подозрительного взгляда Раскольникова, то вдруг сам останавливаясь на месте и глядя на него прямо в упор. Чрезвычайно странно казалась при этом его маленькая, толстенькая и круглая фигурка, как будто мячик, катавшийся в разные стороны и тотчас отскакивавший от всех стен и углов.

— Успеет-с, успеет-с!.. А вы курите? Есть у вас? Вот-с, папиросочка-с... — продолжал он, подавая гостю папироску. — Знаете, я принимаю вас здесь, а ведь квартира-то моя вот тут же, за перегородкой... казенная-с, а я теперь на вольной, на время. Поправочки надо было здесь кой-какие устроить. Теперь почти готово... казенная квартира, знаете, это славная вещь, — а? Как вы думаете?

— Да, славная вещь, — ответил Раскольников, почти с насмешкой смотря на него.

— Славная вещь, славная вещь... — повторял Порфирий Петрович, как будто задумавшись вдруг о чем-то совсем другом, — да! славная вещь! — чуть не вскрикнул он под конец, вдруг вскинув глаза на Раскольникова и останавливаясь в двух шагах от него. Это многократное глупенькое повторение, что казенная квартира славная вещь, слишком, по пошлости своей, противоречило с серьезным, мыслящим и загадочным взглядом, который он устремил теперь на своего гостя.

Но это еще более подкипятило злобу Раскольникова, и он уже никак не мог удержаться от насмешливого и довольно неосторожного вызова.

— А знаете что, — спросил он вдруг, почти дерзко смотря на него и как бы ощущая от своей дерзости наслаждение, — ведь это существует, кажется, такое юридическое правило, такой прием юридической — для всех возможных следователей — сперва начать издалека, с пустячков, или даже с серьезного, но только совсем постороннего, чтобы, так сказать, ободрить, или, лучше сказать, развлечь допрашиваемого, усыпить его осторожность, и потом вдруг, неожиданнейшим образом огорошить его в самое темя каким-нибудь самым роковым и опасным вопросом; так ли? Об этом, кажется, во всех правилах и наставлениях до сих пор свято упоминается?

— Так, так... что ж, вы думаете, это я вас казенной-то квартирой того... а? — И, сказав это, Порфирий Петрович прищурился, подмигнул: что-то веселое и хитрое пробежало по лицу его, морщинки на его лбу разгладились, глазки сузились, черты лица растянулись, и он вдруг залился нервным, продолжительным смехом, волнуясь и колыхаясь всем телом и прямо смотря в глаза Раскольникову. Тот засмеялся было сам, несколько принудив себя; но когда Порфирий, увидя, что и он тоже смеется, закатился уже таким смехом, что почти побагровел, то отвращение Раскольникова вдруг перешло всю осторожность: он перестал смеяться, нахмурился и долго и ненавистно смотрел на Порфирия, не спуская с него глаз, во все время его длинного и как бы с намерением непрекращавшегося смеха.

Неосторожность была, впрочем, явная с обеих сторон: выходило, что Порфирий Петрович как будто смеется в глаза над своим гостем, принимающим этот смех с ненавистью, и очень мало конфузится от этого обстоятельства. Последнее было очень знаменательно для Раскольникова: он понял, что, верно, Порфирий Петрович и давеча совсем не конфузился, а, напротив, сам он, Раскольников, попался, пожалуй, в капкан; что тут явно существует что-то, чего он не знает, какая-то цель; что, может, все уже подготовлено и сейчас, сию минуту обнаружится и обрушится...

Он тотчас же пошел прямо к делу, встал с места и взял фуражку. «Порфирий

Петрович, — начал он решительно, но с довольно сильною раздражительностью, — вы вчера изъявили желание, чтоб я пришел для каких-то допросов. (Он особенно упер на слово: допросов.) Я пришел, и если вам надо что, так спрашивайте, не то позвольте уж мне удалиться. Мне некогда, у меня дело... Мне надо быть на похоронах того самого раздавленного лошадыми чиновника, про которого вы... тоже... знаете... — прибавил он, тотчас же рассердившись на это прибавление, а потом тотчас же еще более раздражившись, — мне это все надоело-с, слышите ли, и давно уже... я отчасти от этого и болен был... одним словом, — почти вскрикнул он, почувствовав, что фраза о болезни еще более некстати, — одним словом: извольте или спрашивать меня, или отпустить, сейчас же... а если спрашивать, то не иначе как по форме-с! Иначе не дозволю; а потому покамест прощайте, так как нам вдвоем теперь нечего делать».

— Господи! Да что вы это! Да об чем вас спрашивать, — закудаhtал вдруг Порфирий Петрович, тотчас же изменяя и тон и вид и миглом перестав смеяться, — да не беспокойтесь, пожалуйста, — хлопотал он, то опять бросаясь во все стороны, то вдруг принимаясь усаживать Раскольникову, — время терпит, время терпит-с, и все это одни пустяки-с! Я, напротив, так рад, что вы наконец-то к нам прибыли... Я как гостя вас принимаю. А за этот смех проклятый вы, батюшка Родион Романович, меня извините, Родион Романович? Ведь так, кажется, вас по батюшке-то?.. Нервный человек-с, рассмешили вы меня очень острою вашего замечания; иной раз, право, затрясусь, как [гуммилстик](#), да этак на полчаса... Смешлив-с. По комплекции моей даже паралича боюсь. Да садитесь же, что вы?.. Пожалуйста, батюшка, а то подумаю, что вы рассердились...

Раскольников молчал, слушал и наблюдал, все еще гневно нахмурившись. Он, впрочем, сел, но не выпуская из рук фуражки.

— Я вам одну вещь, батюшка Родион Романович, скажу про себя, так сказать, в объяснение характеристики, — продолжал, суетясь по комнате, Порфирий Петрович и по-прежнему как бы избегая встретиться глазами с своим гостем. — Я, знаете, человек холостой, этак несветский и неизвестный, и к тому же законченный человек, законченный человек-с, [в семья пошел](#) и... и... и заметили ль вы, Родион Романович, что у нас, то есть у нас в России-с, и всего более в наших петербургских кружках, если два умные человека, не слишком еще между собою знакомые, но, так сказать, взаимно друг друга уважающие, вот как мы теперь с вами-с, сойдутся вместе, то целых полчаса никак не могут найти темы для разговора, — коченеют друг перед другом, сидят и взаимно конфузятся. У всех есть тема для разговора, у дам, например... у светских, например, людей высшего тона, всегда есть разговорная тема, *c'est de rigueur*⁶, а среднего рода люди, как мы, — все конфузливы и неразговорчивы... мыслящие то есть. Отчего это, батюшка, происходит-с? Интересов общественных, что ли, нет-с, али честны уж мы очень и друг друга обманывать не желаем, не знаю-с. А? Как вы думаете? Да фуражечку-то отложите-с, точно уйти сейчас собираетесь, право, неловко смотреть... Я, напротив, так рад-с...

Раскольников положил фуражку, продолжая молчать и серьезно, нахмуренно вслушиваться в пустую и сбивчивую болтовню Порфирия. «Да что он, в самом деле, что ли, хочет внимание мое развлечь глупою своею болтовней?»

— Кофею вас не прошу-с, не место; но минуток пять времени почему не посидеть с приятелем, для развлечения, — не умолкая, сыпал Порфирий, — и знаете-с, все эти служебные обязанности... да вы, батюшка, не обижайтесь, что я вот все хожу-с взад да вперед; извините, батюшка, обидеть вас уж очень боюсь, а моцион так мне просто необходим-с. Все сижу и уж так рад походить минут пять... геморрой-с... все гимнастикой собираюсь лечиться; там, говорят, статские, действительные статские и даже тайные советники охотно через веревочку прыгают-с; вон оно как, наука-то, в нашем ве-ке-с... так-с... А насчет этих здешних обязанностей, допросов и всей этой формалистики... вот вы, батюшка, сейчас упомянуть изволили сами о допросах-с... так, знаете, действительно, батюшка Родион Романович, эти допросы иной раз самого допросчика больше, чем допрашиваемого, с толку сбивают... Об этом вы, батюшка, с совершенною

справедливостью и остроумием сейчас заметить изволили. (Раскольников не замечал ничего подобного.) Запутаетесь-с! Право, запутаетесь! и все-то одно и то же, все-то одно и то же, как барабан! Вон реформа идет, и мы хоть в названии-то будем переименованы, хе! хе! хе! А уж про приемы-то наши юридические, — как остроумно изволили выразиться, — так уж совершенно вполне с вами согласен-с. Ну кто же, скажите, из всех подсудимых, даже из самого посконного мужичья, не знает, что его, например, сначала начнут посторонними вопросами усыплять (по счастливому выражению вашему), а потом вдруг и огорошат в самое темя, обухом-то-с, хе! хе! хе! в самое-то темя, по счастливому уподоблению вашему! хе! хе! так вы это в самом деле подумали, что я квартирой-то вас хотел... хе! хе! Иронический же вы человек. Ну, не буду! Ах да, кстати, одно словцо другое зовет, одна мысль другую вызывает, — вот вы о форме тоже давеча изволили упомянуть, насчет, знаете, допросика-то-с... Да что ж по форме! Форма, знаете, во многих случаях, вздор-с. Иной раз только по-дружески поговоришь, ан и выгоднее. Форма никогда не уйдет, в этом позвольте мне вас успокоить-с; да что такое, в сущности, форма, я вас спрошу? Формой нельзя на всяком шагу стеснять следователя. Дело следователя ведь это, так сказать, свободное художество, в своем роде-с или вроде того... хе! хе! хе!..

Порфирий Петрович перевел на минутку дух. Он так и сыпал, не уставая, то бессмысленно пустые фразы, то вдруг пропускал какие-то загадочные словечки и тотчас же опять сбивался на бессмыслицу. По комнате он уже почти бежал, все быстрее и быстрее передвигая свои жирные ножки, все смотря в землю, засунув правую руку за спину, а левою беспрерывно помахивая и выделявая разные жесты, каждый раз удивительно не подходившие к его словам. Раскольников вдруг заметил, что, бегая по комнате, он раза два точно как будто останавливался подле дверей, на одно мгновение, и как будто прислушивался... «Ждет он, что ли, чего-нибудь?»

— А это вы действительно совершенно правы-с, — опять подхватил Порфирий весело, с необыкновенным простодушием смотря на Раскольникова (отчего тот так и вздрогнул и мигом приготовился), — действительно правы-с, что над формами-то юридическими с таким остроумием изволили посмеяться, хе-хе! Уж эти (некоторые, конечно) глубокомысленно-психологические приемы-то наши крайне смешны-с, да, пожалуй, и бесполезны-с, в случае если формой-то очень стеснены-с. Да-с... опять-таки я про форму: ну, признавай или, лучше сказать, подозревай я кого-нибудь, того, другого, третьего, так сказать, за преступника-с, по какому-нибудь дельцу, мне порученному... Вы ведь в юристы готовитесь, Родион Романович?

— Да, готовился...

— Ну, так вот вам, так сказать, и примерчик на будущее, — то есть не подумайте, чтоб я вас учить осмелился: эвона ведь вы какие статьи о преступлениях печатаете! Нет-с, а так, в виде факта, примерчик осмелюсь представить, — так вот считай я, например, того, другого, третьего за преступника, ну зачем, спрошу, буду я его раньше срока беспокоить, хотя бы я и улики против него имел-с? Иного я и обязан, например, заарестовать поскорее, а другой ведь не такого характера, право-с; так отчего ж бы и не дать ему погулять по городу, хе-хе-с! Нет, вы, я вижу, не совсем понимаете, так я вам пояснее изображу-с: посади я его, например, слишком рано, так ведь этим я ему, пожалуй, нравственную, так сказать, опору придам, хе-хе! вы смеетесь? (Раскольников и не думал смеяться: он сидел, стиснув губы, не спуская своего воспаленного взгляда с глаз Порфирия Петровича.) А между тем ведь это так-с, с иным субъектом особенно, потому люди многообразны, и над всем одна практика-с. Вы вот изволите теперича говорить: улики; да ведь оно, положим, улики-с, да ведь улики-то, батюшка, о двух концах, большею-то частью-с, а ведь я следователь, стало быть, слабый человек, каюсь: хотелось бы следствие, так сказать, математически ясно представить, хотелось бы такую улику достать, чтобы на дважды два — четыре походило! На прямое и бесспорное доказательство походило бы! А ведь засади его не вовремя, — хотя бы я был и уверен, что это *он*, — так ведь я, пожалуй, сам у себя средства отниму к дальнейшему его обличению, а почему? А потому что я ему,

так сказать, определенное положение дам, так сказать, психологически его определю и успокою, вот он и уйдет от меня в свою скорлупу: поймет, наконец, что он арестант. [Говорят вон, в Севастополе, сейчас после Альмы](#), умные-то люди ух как боялись, что вот-вот атакует неприятель открытою силой и сразу возьмет Севастополь; а как увидели, что неприятель правильную осаду предпочел и [первую параллель открывает](#), так куды, говорят, обрадовались и успокоились умные-то люди-с: по крайности на два месяца, значит, дело затянулось, потому когда-то правильной-то осадой возьмут! Опять смеетесь, опять не верите? Оно конечно, правы и вы. Правы-с, правы-с! Это всё частные случаи, согласен с вами; представленный случай действительно частный-с! Но ведь вот что при этом, добрейший Родион Романович, наблюдать следует: ведь общего-то случая-с, того самого, на который все юридические формы и правила примерены и с которого они рассчитаны и в книжки записаны, вовсе не существует-с, по тому самому, что всякое дело, всякое, хоть, например, преступление, как только оно случится в действительности, тотчас же и обращается в совершенно частный случай-с; да иногда ведь в какой: так-таки ни на что прежнее не похожий-с. Прекомические иногда случаи случаются в этом роде-с. Да оставь я иного-то господина совсем одного: не бери я его и не беспокой, но чтоб знал он каждый час и каждую минуту, или, по крайней мере, подозревал, что я все знаю, всю подноготную, и денно и ночью слежу за ним, неусыпно его сторожу, и будь он у меня сознательно под вечным подозрением и страхом, так ведь, ей-богу, закружится, право-с, сам придет, да, пожалуй, еще и наделает чего-нибудь, что уже на дважды два походить будет, так сказать, математический вид будет иметь, — оно и приятно-с. Это и с мужиком сиволапым может произойти, а уж с нашим братом, современно умным человеком, да еще в известную сторону развитым, и подавно! Потому, голубчик, что весьма важная штука понять, в которую сторону развит человек. А нервы-то-с, нервы-то-с, вы их-то так и забыли-с! Ведь все это ныне больное, да худое, да раздраженное!.. А желчи-то, желчи в них во всех сколько! Да ведь это, я вам скажу, при случае своего рода рудник-с! И какое мне в этом беспокойство, что он несвязанный ходит по городу! Да пусть, пусть его погуляет пока, пусть; я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка и никуда не убежит от меня! Да и куда ему убежать, хе-хе! За границу, что ли? [За границу поляк убежит](#), а не он, тем паче что я слежу да и меры принял. В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь там мужики живут, настоящие, посконные, русские; этак ведь современно-то развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить, хе-хе! Но это все вздор и наружное. Что такое: убежит! это форменное; а главное-то не то; не по этому одному он не убежит от меня, что некуда убежать: он у меня *психологически* не убежит, хе-хе! Каково выраженьице-то! Он по закону природы у меня не убежит, хотя бы даже и было куда убежать. Видали бабочку перед свечкой? Ну, так вот он все будет, все будет около меня, как около свечки, кружиться; свобода не мила станет, станет задумываться, запутываться, сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть!.. Мало того: сам мне какую-нибудь математическую штучку, вроде дважды двух, приготовит, — лишь дай я ему только антракт подлиннее... И все будет, все будет около меня же круги давать, все суживая да суживая радиус, и — хлоп! Прямо мне в рот и влетит, я его и проглочу-с, а это уж очень приятно, хе-хе-хе! Вы не верите?

Раскольников не отвечал, он сидел бледный и неподвижный, все с тем же напряжением всматриваясь в лицо Порфирия.

«Урок хорош! — подумал он, холодея. — Это даже уж и не кошка с мышью, как вчера было. И не силу же он свою мне бесполезно выказывает и... подсказывает: он гораздо для этого умнее. Тут цель другая, какая же? Эй, вздор, брат, пугаешь ты меня и хитришь! Нет у тебя доказательств и не существует вчерашний человек! А ты просто с толку сбить хочешь, раздражить меня хочешь преждевременно, да в этом состоянии и прихлопнуть, только врешь, оборвешься, оборвешься! Но зачем же, зачем же до такой степени мне подсказывать?.. На больные, что ли, нервы мои он рассчитывает!.. Нет, брат, врешь, оборвешься, хотя ты что-то и приготовил... Ну, вот и посмотрим, что такое ты там

приготовил».

И он скрепился изо всех сил, готовясь к страшной и неведомой катастрофе. По временам ему хотелось кинуться и тут же на месте задушить Порфирия. Он, еще входя сюда, этой злобы боялся. Он чувствовал, что пересохли его губы, сердце колотится, пена запеклась на губах. Но он все-таки решил молчать и не промолвить слова до времени. Он понял, что это самая лучшая тактика в его положении, потому что не только он не проговорится, но, напротив, раздражит молчанием самого врага, и, пожалуй, еще тот ему же проговорится. По крайней мере, он на это надеялся.

— Нет, вы, я вижу, не верите-с, думаете все, что я вам шуточки невинные подвожу, — подхватил Порфирий, все более и более веселея и непрерывно хихикая от удовольствия и опять начиная кружить по комнате, — оно, конечно, вы правы-с; у меня и фигура уж так самим Богом устроена, что только комические мысли в других возбуждает; буффон-с⁷; но я вам вот что скажу и опять повторю-с, что вы, батюшка Родион Романович, уж извините меня, старика, человек еще молодой-с, так сказать, первой молодости, а потому выше всего ум человеческий цените, по примеру всей молодежи. Игривая острота ума и отвлеченные доводы рассудка вас соблазняют-с. И это точь-в-точь как прежний австрийский [гофкригсрат](#), например, насколько то есть я могу судить о военных событиях: на бумаге-то они и Наполеона разбили, и в полон взяли, и уж как там, у себя в кабинете, все остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а смотришь, генерал-то Мак и сдается со всей своей армией, хе-хе-хе! Вижу, вижу, батюшка Родион Романович, смеетесь вы надо мною, что я, такой статский человек, все из военной истории примерчики подбираю. Да что делать, слабость, люблю военное дело, и уж так люблю я читать все эти военные реляции... решительно я моей карьерой манкировал. Мне бы в военной служить-с, право-с. Наполеоном-то, может быть, и не сделался бы, ну а майором бы был-с, хе-хе-хе! Ну-с, так я вам теперь, родимый мой, всю подробную правду скажу насчет того то есть *частного случая-то*: действительность и натура, сударь вы мой, есть важная вещь и уж как иногда самый прозорливейший расчет подсекают! Эй, послушайте старика, серьезно говорю, Родион Романович (говоря это, едва ли тридцатипятилетний Порфирий Петрович действительно как будто вдруг весь состарился: даже голос его изменился, и как-то весь он скрючился), — к тому же я человек откровенный-с... Откровенный я человек или нет? Как по-вашему? Уж кажется, что вполне: этикие-то вещи вам задаром сообщаю, да еще награждения за это не требую, хе-хе! Ну, так вот-с, продолжаю-с: остроумие, по-моему, великолепная вещь-с; это, так сказать, краса природы и утешение жизни, и уж какие, кажется, фокусы может оно задавать, так что где уж, кажется, иной раз угадать какому-нибудь бедненькому следователю, который притом и сам своей фантазией увлечен, как и всегда бывает, потому тоже ведь человек-с! Да натура-то бедненького следователя выручает-с, вот беда! А об этом и не подумает увлекающаяся остроумием молодежь, «шагающая через все препятствия» (как вы остроумнейшим и хитрейшим образом изволили выразиться). Он-то, положим, и солжет, то есть человек-то-с, *частный-то случай-с*, *incognito-то-с*, и солжет отлично, наихитрейшим манером; тут бы, кажется, и триумф, и наслаждайся плодами своего остроумия, а он хлоп! да в самом-то интересном, в самом скандалезнейшем месте и упадет в обморок. Оно, положим, болезнь, духота тоже иной раз в комнатах бывает, да все-таки-с! Все-таки мысль подал! Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не сумел рассчитать. Вон оно, коварство-то где-с! Другой раз, увлекаясь игривостью своего остроумия, начнет дурачить подозревающего его человека, побледнеет как бы нарочно, как бы в игре, да *слишком уж натурально* побледнеет-то, слишком уж на правду похоже, ан и опять подал мысль! Хоть и надует с первого раза, да за ночь-то тот и надумается, коли сам малый не промах. Да ведь на каждом шагу этак-то-с! Да чего: сам вперед начнет забегать, соваться начнет, куда и не спрашивают, заговаривать начнет непрерывно о том, о чем бы надо, напротив, молчать, различные аллегории начнет подпускать, хе-хе! сам придет и спрашивать начнет: зачем-де меня долго не берут? хе-хе-хе! и это ведь с самым остроумнейшим человеком может

случиться, с психологом и литератором-с! Зеркало натура, зеркало-с, самое прозрачное-с! Смотри в него и любуйся, вот что-с! Да что это вы так побледнели, Родион Романович, не душно ли вам, не растворить ли окошечко?

— О, не беспокойтесь, пожалуйста, — вскричал Раскольников и вдруг захохотал, — пожалуйста, не беспокойтесь!

Порфирий остановился против него, подождал и вдруг сам захохотал вслед за ним. Раскольников встал с дивана, вдруг резко прекратив свой, совершенно припадочный, смех.

— Порфирий Петрович! — проговорил он громко и отчетливо, хотя едва стоял на дрожащих ногах, — я, наконец, вижу ясно, что вы положительно подозреваете меня в убийстве этой старухи и ее сестры Лизаветы. С своей стороны, объявляю вам, что все это мне давно уже надоело. Если находите, что имеете право меня законно преследовать, то преследуйте; арестовать, то арестуйте. Но смеяться себе в глаза и мучить себя я не позволю.

Вдруг губы его задрожали, глаза загорелись бешенством, и сдержанный до сих пор голос зазвучал.

— Не позволю-с! — крикнул он вдруг, изо всей силы стукнув кулаком по столу, — слышите вы это, Порфирий Петрович? Не позволю!

— Ах, господи, да что это опять! — вскрикнул, по-видимому в совершенном испуге, Порфирий Петрович, — батюшка! Родион Романович! Родименький! Отец! Да что с вами?

— Не позволю! — крикнул было другой раз Раскольников.

— Батюшка, потише! Ведь услышат, придут! Ну что тогда мы им скажем, подумайте! — прошептал в ужасе Порфирий Петрович, приближая свое лицо к самому лицу Раскольникова.

— Не позволю, не позволю! — машинально повторил Раскольников, но тоже вдруг совершенным шепотом.

Порфирий быстро отвернулся и побежал отворить окно.

— Воздуху пропустить, свежего! Да водицы бы вам, голубчик, испить, ведь это припадок-с! — И он бросился было к дверям приказать воды, но тут же в углу, кстати, нашелся графин с водой.

— Батюшка, испейте, — шептал он, бросаясь к нему с графином, — авось поможет... — Испуг и самое участие Порфирия Петровича были до того натуральны, что Раскольников умолк и с диким любопытством стал его рассматривать. Воды, впрочем, он не принял.

— Родион Романович! миленький! да вы этак себя с ума сведете, уверяю вас, э-эх! А-х! Выпейте-ка! Да выпейте хоть немножечко!

Он таки заставил его взять стакан с водой в руки. Тот машинально поднес было его к губам, но, опомнившись, с отвращением поставил на стол.

— Да-с, припадок у нас был-с! Этак вы опять, голубчик, прежнюю болезнь себе возвратите, — закудахтал с дружественным участием Порфирий Петрович, впрочем, все еще с каким-то растерявшимся видом. — Господи! Да как же этак себя не беречь? Вот и Дмитрий Прокофьевич ко мне вчера приходил, — согласен, согласен-с, у меня характер язвительный, скверный, а они вот что из этого вывели!.. Господи! Пришел вчера, после вас, мы обедали, говорил-говорил, я только руки расставил: ну, думаю... ах ты, господи! От вас, что ли, он приходил? Да садитесь же, батюшка, присядьте, ради Христа!

— Нет, не от меня! Но я знал, что он к вам пошел и зачем пошел, — резко ответил Раскольников.

— Знали?

— Знал. Ну что же из этого?

— Да то же, батюшка, Родион Романович, что я не такие еще ваши подвиги знаю; обо всем известен-с! Ведь я знаю, как вы *квартиру-то нанимать* ходили, под самую ночь, когда смерклось, да в колокольчик стали звонить, да про кровь спрашивали, да

работников и дворников с толку сбили. Ведь и понимаю настроение-то ваше душевное, тогдашнее-то... да ведь все-таки этак вы себя просто с ума сведете, ей-богу-с! Закружитесь! Негодование-то в вас уж очень сильно кипит-с, благородное-с, от полученных обид, сперва от судьбы, а потом от квартальных, вот вы и мечетесь туда и сюда, чтобы, так сказать, поскорее заговорить всех заставить и тем все разом покончить, потому что надоели вам эти глупости и все подозрения эти. Ведь так? угадал-с настроение-то?.. Только вы этак не только себя, да и Разумихина у меня закружите; ведь слишком уже он *добрый* человек для этого, сами знаете. У вас-то болезнь, а у него добродетель, болезнь-то и выходит к нему прилипчивая... Я вам, батюшка, вот когда успокоитесь, расскажу... да садитесь же, батюшка, ради Христа! Пожалуйста, отдохните, лица на вас нет; да присядьте же.

Раскольников сел, дрожь его проходила, и жар выступал во всем теле. В глубоком изумлении, напряженно слушал он испуганного и дружески ухаживавшего за ним Порфирия Петровича. Но он не верил ни единому его слову, хотя ощущал какую-то странную склонность поверить. Неожиданные слова Порфирия о квартире совершенно его поразили. «Как же это, он, стало быть, знает про квартиру-то? — подумалось ему вдруг, — и сам же мне и рассказывает!»

— Да-с, был такой почти точно случай, психологический, в судебной практике нашей-с, болезненный такой случай-с, — продолжал скороговоркой Порфирий. — Тоже наклепал один на себя убийство-с, да еще как наклепал-то: целую галлюцинацию подвел, факты представил, обстоятельства рассказал, спутал, сбил всех и каждого, а чего? Сам он, совершенно неумышленно, отчасти, причиной убийства был, но только отчасти, и как узнал про то, что он убийцам дал повод, затосковал, задурманился, стало ему представляться, повихнулся совсем, да и уверил сам себя, что он-то и есть убийца! Да правительствующий сенат, наконец, дело-то разобрал, и несчастный был оправдан и под признание отдан. Спасибо правительствующему сенату! Эхма, ай-ай-ай! Да этак что же, батюшка? Этак можно и горячку нажить, когда уж этакие поползновения нервы свои раздражать являются, по ночам в колокольчики ходить звонить да про кровь расспрашивать! Эту ведь я психологию-то изучил всю на практике-с. Этак ведь иногда человека из окна или с колокольни соскочить тянет, и ощущение-то такое соблазнительное. Тоже и колокольчики-с... Болезнь, Родион Романович, болезнь! Болезнью своей пренебрегать слишком начали-с. Посоветовались бы вы с опытным медиком, а то что у вас этот толстый-то!.. Бред у вас! Это все у вас просто в бреду одном делается!..

На мгновение все так и завертелось кругом Раскольникова.

«Неужели, неужели, — мелькало в нем, — он лжет и теперь? Невозможно, невозможно!» — отталкивал он от себя эту мысль, чувствуя заранее, до какой степени бешенства и ярости может она довести его, чувствуя, что от бешенства с ума сойти может.

— Это было не в бреду, это было наяву! — вскричал он, напрягая все силы своего рассудка проникнуть в игру Порфирия. — Наяву, наяву! Слышите ли?

— Да, понимаю и слышу-с! Вы и вчера говорили, что не в бреду, особенно даже напирали, что не в бреду! Все, что вы можете сказать, понимаю-с! Э-эх!.. Да послушайте же, Родион Романович, благодетель вы мой, ну, вот хоть бы это-то обстоятельство. Ведь вот будь вы действительно, на самом-то деле преступны али там как-нибудь замешаны в это проклятое дело, ну стали бы вы, помилуйте, сами напирать, что не в бреду вы все это делали, а, напротив, в полной памяти? Да еще особенно напирать, с упорством таким, особенным, напирать, — ну могло ли быть, ну могло ли быть это, помилуйте? Да ведь совершенно же напротив, по-моему. Ведь если б вы за собой что-либо чувствовали, так вам именно следовало бы напирать: что непременно, дескать, в бреду! Так ли? Ведь так?

Что-то лукавое послышалось в этом вопросе. Раскольников отшатнулся к самой спинке дивана от наклонившегося к нему Порфирия и молча, в упор, в недоумении его рассматривал.

— Али вот насчет господина Разумихина, насчет того то есть, от себя ли он вчера приходил говорить или с вашего наущения? Да вам именно должно бы говорить, что от себя приходил, и скрыть, что с вашего наущения! А ведь вот вы не скрываете же! Вы именно упираете на то, что с вашего наущения!

Раскольников никогда не упирал на это. Холод прошел по спине его.

— Вы все лжете, — проговорил он медленно и слабо, с искривившимися в болезненную улыбку губами, — вы мне опять хотите показать, что всю игру мою знаете, все ответы мои заранее знаете, — говорил он, сам почти чувствуя, что уже не взвешивает как должно слов, — запугать меня хотите... или просто смеетесь надо мной...

Он продолжал в упор смотреть на него, говоря это, и вдруг опять беспредельная злоба блеснула в глазах его.

— Лжете вы все! — вскричал он. — Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику по возможности не скрывать, чего можно не скрыть. Не верю я вам!

— Экой же вы вертун! — захихикал Порфирий, — да с вами, батюшка, и не сладишь: мономания какая-то в вас засела. Так не верите мне? А я вам скажу, что уж верите, уж на четверть аршина поверили, а я сделаю, что поверите и на весь аршин, потому истинно вас люблю и искренно добра вам желаю.

Губы Раскольникова задрожали.

— Да-с, желаю-с, окончательно вам скажу-с, — продолжал он, слегка, дружески, взявши за руку Раскольникова, немного повыше локтя, — окончательно скажу-с; наблюдайте вашу болезнь. К тому же вот к вам и [фамилия теперь приехала](#); об ней-то попомните. Покоить вам и нежить их следует, а вы их только пугаете...

— Какое вам дело? Почему это вы знаете? К чему так интересуетесь? Вы следите, стало быть, за мной и хотите мне это показать?

— Батюшка! Да ведь от вас же, от вас же самих все узнал! Вы и не замечаете, что в волнении своем все вперед сами высказываете и мне и другим. От господина Разумихина, Дмитрия Прокофьяча, тоже вчера много интересных подробностей узнал. Нет-с, вот вы меня прервали, а я скажу, что через мнительность вашу, при всем остроумии вашем, вы даже здравый взгляд на вещи изволили потерять. Ну вот, например, хоть на ту же опять тему, насчет колокольчиков-то: да этакую-то драгоценность, этакой факт (целый ведь факт-с!) я вам так, с руками и с ногами, и выдал, я-то, следовательно! И вы ничего в этом не видите? Да подозревай я вас хоть немножко, так ли следовало мне поступить! Мне, напротив, следовало бы сначала усыпить подозрения ваши и виду не подать, что я об этом факте уже известен; отвлечь, этак, вас в противоположную сторону, да вдруг, как обухом по темени (по вашему же выражению), и огорошить: «А что, дескать, сударь, изволили вы в квартире убитой делать в десять часов вечера, да чуть ли еще и не в одиннадцать? А зачем в колокольчик звонили? А зачем про кровь расспрашивали? А зачем дворников сбивали и в часть, к квартальному поручику, подзывали?» Вот как бы следовало мне поступить, если б я хоть капельку на вас подозрения имел. Следовало бы по всей форме от вас показание-то отобрать, обыск сделать, да, пожалуй, еще вас и заарестовать... Стало быть, я на вас не питаю подозрений, коли иначе поступил! А вы здравый взгляд потеряли, да и не видите ничего, повторяю-с!

Раскольников вздрогнул всем телом, так что Порфирий Петрович слишком ясно заметил это.

— Лжете вы всё! — вскричал он, — я не знаю ваших целей, но вы всё лжете... Давеча вы не в этом смысле говорили, и ошибиться нельзя мне... Вы лжете!

— Я лгу? — подхватил Порфирий, по-видимому горячась, но сохраняя самый веселый и насмешливый вид и, кажется, нимало не тревожась тем, какое мнение имеет о нем г-н Раскольников. — Я лгу?.. Ну, а как я с вами давеча поступил (я-то, следовательно), сам вам подсказывая и выдавая все средства к защите, сам же вам всю эту психологию подводя: «Болезнь, дескать, бред, разобижен был; меланхолия да квартальные», и все это прочее? А? хе-хе-хе! Хотя оно, впрочем, — кстати скажу, — все эти психологические средства к

защите, отговорки да увертки крайне несостоятельны, да и о двух концах: «Болезнь, дескать, бред, грезы, мерещилось, не помню», все это так-с, да зачем же, батюшка, в болезни-то да в бреду всё такие именно грезы мерещутся, а не прочие? Могли ведь быть и прочие-с? Так ли? Хе-хе-хе-хе!

Раскольников гордо и с презрением посмотрел на него.

— Одним словом, — настойчиво и громко сказал он, вставая и немного оттолкнув при этом Порфирия, — одним словом, я хочу знать: признаете ли вы меня окончательно свободным от подозрений или *нет*? Говорите, Порфирий Петрович, говорите положительно и окончательно, и скорее, сейчас!

— Эх ведь комиссия! Ну, уж комиссия же с вами, — вскричал Порфирий с совершенно веселым, лукавым и нисколько не встревоженным видом. — Да и к чему вам знать, к чему вам так много знать, коли вас еще и не начинали беспокоить нисколько! Ведь вы как ребенок: дай да подай огонь в руки! И зачем вы так беспокоитесь? Зачем сами-то вы так к нам напрашиваетесь, из каких причин? А? хе-хе-хе!

— Повторяю вам, — вскричал в ярости Раскольников, — что не могу дольше переносить...

— Чего-с? Неизвестности-то? — перебил Порфирий.

— Не язвите меня! Я не хочу!.. Говорю вам, что не хочу!.. Не могу и не хочу!.. Слышите!.. Слышите! — крикнул он, стукнув опять кулаком по столу.

— Да тише же, тише! Ведь услышат! серьезно предупреждаю: поберегите себя. Я не шучу-с! — проговорил шепотом Порфирий, но на этот раз в лице его уже не было давешнего бабьи-добродушного и испуганного выражения; напротив, теперь он прямо *приказывал*, строго, нахмутив брови и как будто разом нарушая все тайны и двусмысленности. Но это было только на мгновение. Озадаченный было Раскольников вдруг впал в настоящее иступление; но странно: он опять послушался приказания говорить тише, хотя и был в самом сильном пароксизме бешенства.

— Я не дам себя мучить, — зашептал он вдруг по-давешнему, с болью и с ненавистью мгновенно сознавая в себе, что не может не подчиниться приказанию, и приходя от этой мысли еще в большее бешенство, — арестуйте меня, обыскивайте меня, но извольте действовать по форме, а не играть со мной-с! Не смейте...

— Да не беспокойтесь же о форме, — перебил Порфирий с прежнею лукавою усмешкой и как бы даже с наслаждением любуясь Раскольниковым, — я вас, батюшка, пригласил теперь по-домашнему, совершенно этак по-дружески!

— Не хочу я вашей дружбы и плюю на нее! Слышите ли? И вот же: беру фуражку и иду. Ну-тка, что теперь скажешь, коли намерен арестовать?

Он схватил фуражку и пошел к дверям.

— А сюрпризик-то не хотите разве посмотреть? — захихикал Порфирий, опять схватывая его немного повыше локтя и останавливая у дверей. Он, видимо, становился все веселее и игривее, что окончательно выводило из себя Раскольникова.

— Какой сюрпризик? что такое? — спросил он, вдруг останавливаясь и с испугом смотря на Порфирия.

— Сюрпризик-с, вот тут, за дверью у меня сидит, хе-хе-хе! (Он указал пальцем на запертую дверь в перегородке, которая вела в казенную квартиру его.) — Я и на замок припер, чтобы не убежал.

— Что такое? где? что?.. — Раскольников подошел было к двери и хотел отворить, но она была заперта.

— Заперта-с, вот и ключ!

И в самом деле, он показал ему ключ, вынув из кармана.

— Лжешь ты все! — завопил Раскольников, уже не удерживаясь, — лжешь, [полишинель](#) проклятый! — и бросился на ретировавшегося к дверям, но нисколько не струсившего Порфирия.

— Я все, все понимаю! — подскочил он к нему. — Ты лжешь и дразнишь меня, чтоб я

себя выдал...

— Да уж больше и нельзя себя выдать, батюшка Родион Романович. Ведь вы в исступление пришли. Не кричите, ведь я людей позову-с!

— Лжешь, ничего не будет! Зови людей! Ты знал, что я болен, и раздражить меня хотел, до бешенства, чтоб я себя выдал, вот твоя цель! Нет, ты фактов подавай! Я все понял! У тебя фактов нет, у тебя одни только дрянные, ничтожные догадки, заметовские!.. Ты знал мой характер, до исступления меня довести хотел, а потом и огорошить вдруг попами да депутатами... Ты их ждешь? а? Чего ждешь? Где? Подавай!

— Ну какие тут депутаты-с, батенька? Вообразится же человеку! Да этак по форме и действовать-то нельзя, как вы говорите, дела вы, родимый, не знаете... А форма не уйдет-с, сами увидите!..— бормотал Порфирий, прислушиваясь к дверям.

Действительно, в это время у самых дверей в другой комнате послышался как бы шум.

— А, идут! — вскричал Раскольников, — ты за ними послал!.. Ты их ждал! Ты рассчитал... Ну, подавай сюда всех: депутатов, свидетелей, чего хочешь... давай! Я готов! готов!..

Но тут случилось странное происшествие, нечто до того неожиданное, при обыкновенном ходе вещей, что уже, конечно, ни Раскольников, ни Порфирий Петрович на такую развязку и не могли рассчитывать.

VI

Потом, при воспоминании об этой минуте, Раскольникову представлялось все в таком виде.

Послышавшийся за дверью шум вдруг быстро увеличился, и дверь немного приотворилась

— Что такое? — вскрикнул с досадой Порфирий Петрович. — Ведь я предупредил...

На мгновение ответа не было, но видно было, что за дверью находилось несколько человек и как будто кого-то отталкивали.

— Да что там такое? — встревоженно повторил Порфирий Петрович.

— Арестанта привели, Николая, — послышался чей-то голос.

— Не надо! Прочь! подождать!.. Зачем он сюда залез! Что за беспорядок! — закричал Порфирий, бросаясь к дверям.

— Да он... — начал было опять тот же голос и вдруг осекся.

Секунды две не более происходила настоящая борьба; потом вдруг как бы кто-то кого-то с силою оттолкнул, и вслед за тем какой-то очень бледный человек шагнул прямо в кабинет Порфирия Петровича.

Вид этого человека с первого взгляда был очень странный. Он глядел прямо перед собою, но как бы никого не видя. В глазах его сверкала решимость, но в то же время смертная бледность покрывала лицо его, точно его привели на казнь. Совсем побелевшие губы его слегка вздрагивали.

Он был еще очень молод, одет как простолюдин, роста среднего, худощавый, с волосами, обстриженными в кружок, с тонкими, как бы сухими чертами лица. Неожиданно оттолкнутый им человек первый бросился было за ним в комнату и успел схватить его за плечо: это был конвойный; но Николай дернул руку и вырвался от него еще раз.

В дверях затолпилось несколько любопытных. Иные из них порывались войти. Все описанное произошло почти в одно мгновение.

— Прочь, рано еще! Подожди, пока позвут!.. Зачем его раньше привели? — бормотал в крайней досаде, как бы сбитый с толку Порфирий Петрович. Но Николай вдруг стал на колени.

— Чего ты? — крикнул Порфирий в изумлении.

— Виноват! Мой грех! Я убивец! — вдруг произнес Николай, как будто несколько

задыхаясь, но довольно громким голосом.

Секунд десять продолжалось молчание, точно столбняк нашел на всех; даже конвойный отшатнулся и уже не подходил к Николаю, а отретировался машинально к дверям и стал неподвижен.

— Что такое? — вскричал Порфирий Петрович, выходя из мгновенного оцепенения.

— Я... убивец... — повторил Николай, помолчав капельку.

— Как... ты... Как... Кого ты убил?

Порфирий Петрович, видимо, потерялся.

Николай опять помолчал капельку.

— Алену Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я... убил... топором.

Омрачение нашло... — прибавил он вдруг и опять замолчал. Он все стоял на коленях.

Порфирий Петрович несколько мгновений стоял, как бы вдумываясь, но вдруг опять вспорхнулся и замахал руками на непрошенных свидетелей. Те мигом скрылись, и дверь притворилась. Затем он поглядел на стоявшего в углу Раскольникова, дико смотревшего на Николая, и направился было к нему, но вдруг остановился, посмотрел на него, перевел тотчас же свой взгляд на Николая, потом опять на Раскольникова, потом опять на Николая и вдруг, как бы увлеченный, опять набросился на Николая.

— Ты мне что с своим омрачением-то вперед забегаешь? — крикнул он на него почти со злобой. — Я тебя еще не спрашивал: находило или нет на тебя омрачение... говори: ты убил?

— Я убивец... показание сдаю... — произнес Николай.

— Э-эх! Чем ты убил?

— Топором. Припас.

— Эх, спешит! Один?

Николай не понял вопроса.

— Один убил?

— Один. А Митька неповинен и всему тому непричастен.

— Да не спеши с Митькой-то! Э-эх!..

— Как же ты, ну, как же ты с лестницы-то тогда сбежал? Ведь дворники вас обоих встретили?

— Это я для отводу... тогда... бежал с Митькой, — как бы заторопясь и заранее приготовившись, ответил Николай.

— Ну, так и есть! — злобно вскрикнул Порфирий, — не свои слова говорит! — пробормотал он как бы про себя и вдруг опять увидел Раскольникова.

Он, видимо, до того увлекся с Николаем, что на одно мгновение даже забыл о Раскольникове. Теперь он вдруг опомнился, даже смутился...

— Родион Романович, батюшка! Извините-с, — кинулся он к нему, — этак нельзя-с; пожалуйста-с... вам тут нечего... я и сам... видите, какие сюрпризы!.. пожалуйста-с!..

И, взяв его за руку, он показал ему на дверь.

— Вы, кажется, этого не ожидали? — проговорил Раскольников, конечно ничего еще не понимавший ясно, но уже успевший сильно ободриться.

— Да и вы, батюшка, не ожидали. Ишь ручка-то как дрожит! хе-хе!

— Да и вы дрожите, Порфирий Петрович.

— И я дрожу-с; не ожидал-с!..

Они уже стояли в дверях. Порфирий нетерпеливо ждал, чтобы прошел Раскольников.

— А сюрпризик-то и не покажете? — проговорил вдруг Раскольников.

— Говорит, а у самого еще зубки во рту один о другой колотятся, хе-хе! Иронический вы человек! Ну-с, до свидания-с.

— По-моему, так *прощайте!*

— Как бог приведет-с, как бог приведет-с! — пробормотал Порфирий с искривившеюся как-то улыбкой.

Проходя канцелярию, Раскольников заметил, что многие на него пристально

посмотрели. В прихожей, в толпе, он успел разглядеть обоих дворников из *того* дома, которых он подзывал тогда ночью к квартальному. Они стояли и чего-то ждали. Но только что он вышел на лестницу, вдруг услышал за собой опять голос Порфирия Петровича. Обернувшись, он увидел, что тот догонял его, весь запыхавшись.

— Одно словцо-с, Родион Романович; там насчет всего этого прочего как бог приведет, а все-таки по форме кой о чем придется спросить-с... так мы еще увидимся, так-с.

И Порфирий остановился перед ним с улыбкой.

— Так-с, — прибавил он еще раз.

Можно было предположить, что ему еще что-то хотелось сказать, но как-то не выговаривалось.

— А вы меня, Порфирий Петрович, извините насчет давешнего... я погорячился, — начал было совершенно уже ободрившийся, до неотразимого желания пофорсить, Раскольников.

— Ничего-с, ничего-с... — почти радостно подхватил Порфирий. — Я и сам-то-с... Ядовитый характер у меня, каюсь, каюсь! Да вот мы увидимся-с. Если бог приведет, так и очень и очень увидимся-с!..

— И окончательно познаем друг друга? — подхватил Раскольников.

— И окончательно познаем друг друга, — поддакнул Порфирий Петрович и, прищурившись, весьма серьезно посмотрел на него. — Теперь на именины-с?

— На похороны-с.

— Да бишь, на похороны! Здоровье-то свое берегите, здоровье-то-с...

— А уж и не знаю, чего вам пожелать с своей стороны! — подхватил Раскольников, уже начинавший спускаться с лестницы, но вдруг опять оборачиваясь к Порфирию, — пожелал бы бóльших успехов, да ведь видите, какая ваша должность комическая!

— Почему же комическая-с? — тотчас наострил уши Порфирий Петрович, тоже повернувшийся было уйти.

— Да как же, вот этого бедного Миколку вы ведь как, должно быть, терзали и мучили, психологически-то, на свой манер, покамест он не сознался; день и ночь, должно быть, доказывали ему: «ты убийца, ты убийца...» — ну, а теперь, как он уж сознался, вы его опять по косточкам разминать начнете: «Врешь, дескать, не ты убийца! Не мог ты им быть! Не свои ты слова говоришь!» Ну, так как же после этого должность не комическая?

— Хе-хе-хе! А таки заметили, что я сказал сейчас Николаю, что он «не свои слова говорит»?

— Как не заметить?

— Хе-хе! Остроумны, остроумны-с. Все-то замечаете! Настоящий игривый ум-с! И самую-то комическую струну и зацепите... хе-хе! Это ведь у Гоголя, из писателей, говорят, эта черта была в высшей-то степени?

— Да, у Гоголя.

— Да-с, у Гоголя-с... до приятнейшего свидания-с.

— До приятнейшего свидания...

Раскольников прошел прямо домой. Он до того был сбит и спутан, что, уже придя домой и бросившись на диван, с четверть часа сидел, только отдыхая и стараясь хоть сколько-нибудь собраться с мыслями. Про Николая он и рассуждать не брался: он чувствовал, что поражен; что в признании Николая есть что-то необъяснимое, удивительное, чего теперь ему не понять ни за что. Но признание Николая был факт действительный. Последствия этого факта ему тотчас же стали ясны: ложь не могла не обнаружиться, и тогда примутся опять за него. Но, по крайней мере, до того времени он свободен и должен непременно что-нибудь для себя сделать, потому что опасность неминуемая.

Но, однако ж, в какой степени? Положение начало выясняться. Припоминая, *вчера*, в общей связи, всю свою давешнюю сцену с Порфирием, он не мог еще раз не содрогнуться

от ужаса. Конечно, он не знал еще всех целей Порфирия, не мог постигнуть всех давешних расчетов его. Но часть игры была обнаружена, и уж конечно, никто лучше его не мог понять, как страшен был для него этот «ход» в игре Порфирия. Еще немного, и он *мог* выдать себя совершенно, уже фактически. Зная болезненность его характера и, с первого взгляда, верно схватив и проникнув его, Порфирий действовал хотя слишком решительно, но почти наверное. Спору нет, Раскольников успел уже себя и давеча слишком скомпрометировать, но до *фактов* все-таки еще не дошло; все еще это только относительно. Но так ли, однако же, так ли он это все теперь понимает? Не ошибается ли он? К какому именно результату клонил сегодня Порфирий? Действительно ли было у него что-нибудь приготовлено сегодня? Да и что именно? Действительно ли он ждал чего или нет? Как именно расстались бы они сегодня, если бы не подошла неожиданная катастрофа, через Николая?

Порфирий почти всю игру свою показал; конечно, рискнул, но показал, и (все казалось Раскольникову) если бы действительно у Порфирия было что-нибудь более, то он показал бы и то. Что такое этот «сюрприз»? Насмешка, что ли? Значило это что-нибудь или нет? Могло ли под этим скрываться хоть что-нибудь похожее на факт, на положительное обвинение? Вчерашний человек? Куда же он провалился? Где он был сегодня? Ведь если только есть что-нибудь у Порфирия положительного, то уж, конечно, оно в связи со вчерашним человеком...

Он сидел на диване, свесив вниз голову, облокотясь на колени и закрыв руками лицо. Нервная дрожь продолжалась еще во всем его теле. Наконец, он встал, взял фуражку, подумал и направился к дверям.

Ему как-то предчувствовалось, что, по крайней мере на сегодняшний день, он почти наверное может считать себя безопасным. Вдруг в сердце своем он ощутил почти радость: ему захотелось поскорее к Катерине Ивановне. На похороны он, разумеется, опоздал, но на поминки поспеет, и там, сейчас, он увидит Соню.

Он остановился, подумал, и болезненная улыбка выдавилась на губах его.

— Сегодня! Сегодня! — повторил он про себя, — да, сегодня же! Так должно...

Только что он хотел отворить дверь, как вдруг она стала отворяться сама. Он задрожал и отскочил назад. Дверь отворялась медленно и тихо, и вдруг показалась фигура — вчерашнего человека *из-под земли*.

Человек остановился на пороге, посмотрел молча на Раскольникова и ступил шаг в комнату. Он был точь-в-точь как и вчера, такая же фигура, так же одет, но в лице и во взгляде его произошло сильное изменение: он смотрел теперь как-то пригорюнившись и, постояв немного, глубоко вздохнул. Недоставало только, чтоб он приложил при этом ладонь к щеке, а голову скривил на сторону, чтоб уж совершенно походить на бабу.

— Что вам? — спросил помертвевший Раскольников.

Человек помолчал и вдруг глубоко, чуть не до земли, поклонился ему. По крайней мере, тронул землю перстом правой руки.

— Что вы? — вскричал Раскольников.

— Виноват, — тихо произнес человек.

— В чем?

— В злобных мыслях.

Оба смотрели друг на друга.

— Обидно стало. Как вы изволили тогда приходить, может, во хмелю, и дворников в квартал звали, и про кровь спрашивали, обидно мне стало, что втуне оставили и за пьяного вас почли. И так обидно, что сна решился. А запомнивши адрес, мы вчера сюда приходили и спрашивали...

— Кто приходил? — перебил Раскольников, мгновенно начиная припоминать.

— Я, то есть, вас обидел.

— Так вы из того дома?

— Да я там же, тогда же в воротах с ними стоял, али запомнили? Мы и ремесло

свое там имеем, искони. Скорняки мы, мещане, на дом работу берем... а паче всего обидно стало...

И вдруг Раскольникову ясно припомнилась вся сцена третьего дня под воротами; он сообразил, что, кроме дворников, там стояло тогда еще несколько человек, стояли и женщины. Он припомнил один голос, предлагавший вести его прямо в квартал. Лицо говорившего не мог он вспомнить и даже теперь не признавал, но ему памятно было, что он даже что-то ответил ему тогда, обернулся к нему...

Так вот, стало быть, чем разрешился весь этот вчерашний ужас. Всего ужаснее было подумать, что он действительно чуть не погиб, чуть не погубил себя из-за такого *ничтожного* обстоятельства. Стало быть, кроме найма квартиры и разговоров о крови, этот человек ничего не может рассказать. Стало быть, и у Порфирия тоже нет ничего, ничего, кроме этого *брёда*, никаких фактов, кроме *психологии*, которая *о двух концах*, ничего положительного. Стало быть, если не явится никаких больше фактов (а они не должны уже более являться, не должны, не должны!), то... то что же могут с ним сделать? Чем же могут его обличить окончательно, хоть и арестуют? И, стало быть, Порфирий только теперь, только сейчас узнал о квартире, а до сих пор и не знал.

— Это вы сказали сегодня Порфирию... о том, что я приходил? — вскричал он, пораженный внезапною идеей.

— Какому Порфирию?

— Приставу следственных дел.

— Я сказал. Дворники не пошли тогда, я и пошел.

— Сегодня?

— Перед вами за минуточку был. И все слышал, все, как он вас истязал.

— Где? Что? Когда?

— Да тут же, у него за перегородкой, все время просидел.

— Как? Так это вы-то были сюрприз? Да как же это могло случиться? Помилуйте!

— Видевши я, — начал мещанин, — что дворники с моих слов идти не хотят, потому, говорят, уже поздно, а пожалуй, еще осерчает, что тем часом не пришли, стало мне обидно, и сна решился, и стал узнавать. А разузнавши вчера, сегодня пошел. Впервой пришел — его не было. Часом помедля пришел — не приняли, в третий пришел — допустили. Стал я ему докладывать все, как было, и стал он по комнате сигать и себя в грудь кулаком бил: «Что вы, говорит, со мной, разбойники, делаете? Знал бы я этакое дело, я б его с конвоем потребовал!» Потом выбежал, какого-то позвал и стал с ним в углу говорить, а потом опять ко мне и стал спрашивать и ругать. И много попрекал; а донес я ему обо всем и говорил, что с моих вчерашних слов ничего вы не посмели мне отвечать и что вы меня не признали. И стал он тут опять бегать, и все бил себя в грудь, и серчал, и бегал, а как об вас доложили, — ну, говорит, полезай за перегородку, сиди пока, не шевелись, что бы ты ни услышал, и стул мне туда сам принеси и меня запер; может, говорит, я тебя и спрошу. А как привели Николая, тут он меня, после вас, и вывел: я тебя еще, говорит, потребую и еще спрашивать буду...

— А Николая при тебе спрашивал?

— Как вас вывел, и меня тотчас вывел, а Николая допрашивать начал.

Мещанин остановился и вдруг опять положил поклон, коснувшись перстом пола.

— За оговор и за злобу мою простите.

— Бог простит, — ответил Раскольников, и как только произнес это, мещанин поклонился ему, но уже не земно, а в пояс, медленно повернулся и вышел из комнаты. «Все о двух концах, теперь все о двух концах», — твердил Раскольников и более чем когда-нибудь бодро вышел из комнаты.

«Теперь мы еще поборемся», — с злобною усмешкой проговорил он, сходя с лестницы. Злоба же относилась к нему самому; он с презрением и стыдом вспоминал о своем «малодушии».

¹ и ничто человеческое... (*лат.*)

² честная война (*фр.*).

³ в пьяном виде нехорош (*фр.*).

⁴ чтоб угодить вам (*фр.*).

⁵ накоротке (*фр.*).

⁶ так уж заведено (*фр.*).

⁷ шут (*фр. bouffon*).